СКАЗКА О ГАЙДАРЕ

Фрагмент романа «Сказка о Радуге»

На одном из планов – роман посвящен отечественной истории. В нем, в частности – изображены малоизвестные страницы непростой биографии А. П. Гайдара. Жизнь и судьба этого писателя высвечиваются по-новому. Кроме того, в произведении имеются новые подходы к изображению как исторического прошлого, так и современности. Но это относится лишь к поверхностному плану. Произведение затрагивает и более глубокие вещи. Устами обоих главных героев – Гайдара и современного литератора Годара – а лучше сказать, всей их судьбой – проговариваются и разрешаются некоторые «проклятые» русские вопросы. Тут и религиозные поиски, и – тема войны, вновь ставшая актуальной в последний год. По большому счету, это книга о России – о ее внутреннем и внешнем пути, о противоречиях между формой и содержанием – как в самой стране, так и в душах отдельных героев. Имеется в романе и мистический план – он связан с поисками духовной Родины, которая ассоциируется с Радугой и символически представлена в виде путешествия Годара «на Радугу» – это путешествие начинается с поездки на фестиваль альтернативной молодежной культуры.

Произведение, которое, однако, можно рассматривать совершенно отдельно, составляет вместе с более ранним романом автора «Дорога цвета собаки» своеобразную дилогию.

– А жизнь, товарищи, была... совсем хорошая, – сказал Гайдар и резко встал.

Замредактора киностудии, смотревший до того в рукопись, разделявшую их разливистой, певучей, гудящей, кипящей водной стихией, которую надо ограничивать, непрерывно вводить в берега, подтыкать с боков дамбами, бросая вдогонку поперек ее русла строгие и величественные турбины, – словом, увлеченно, умеючи скручивать или, лучше сказать, окучивать, как вольного буйного скакуна, дабы переориентировать сию страшную силу на полезные цели, – этот редактор вдруг с удивлением отметил, что видит перед собой великана – ведь сидевший до того молодой человек в гимнастерке с накинутой на плечи шинелью не просто встал и надел на голову, заломив ее на затылок, папаху, – это сочетание военной строгости и некой художественной вольности, некоего анархизма во внешнем облике, особенно проявляющихся через взгляд, стало уже привычным и воспринималось знакомыми как отмети-

Наталья Гвелесиани родилась в 1967 году. Прозаик, эссеист. Окончила филологический факультет ТГУ им. И. Джавахишвили. Публиковалась в журналах «Нева», «Новый журнал», «Футурум АРТ», «Новая реальность», «Архетипические исследования», «Русская жизнь». Автор книг «Путь неприкаянной души (О Марине Цветаевой и не только)» (Ставрополь: Ставролит, 2013), «Выход Алисы из Зазеркалья» (серия «Психология») (М.: Велигор, 2015), «Мой маленький Советский Союз» (полная авторская версия) (М.: Рипол Классик, 2016). Живет в Тбилиси (Грузия). Лауреат литературной премии им. Марка Алданова.

на на крыле странной большой птицы, — но и, пошатнувшись, как огромный дуб на краю вдруг разверзшейся пропасти, стал падать назад...

— Аркадий Петрович!.. — беспомощно сказал замредактора, приподнявшись. Он неловко протянул автору, которого мягко направлял до того как бы отеческой рукой, подчеркивая что-то карандашиком в его рукописи, эту самую отеческую руку, хотя был младше того, наверное, лет на десять. Но Аркадий Петрович уже ощутил спиной холод бездны с ужасной темнотой, которая просачивалась в мозг, заволакивая его, в самые неподходящие моменты. Вместо руки редактора он схватил граненый стакан рядом с симпатичным граненым графином — и в сердцах швырнул его в стену.

Разлетелись брызги осколков. И тотчас влетела стрекочущей сорокой секретарша. Захлопала глазами.

— Как это? Что это?.. Всеволод Михайлович, надо вызвать охранника. Может, сразу милицию? Стыдно, товарищ!..

— Доктора! — сказал Гайдар, глядя ей в лицо своими большими ясными — слишком ясными — синими глазами, в которых росла из ясной точки лавина. Эта лавина — она сейчас может все. Страшно стоять у нее на пути. Вот что поняла секретарша. И благоразумно согласилась:

— Доктора!

— Да скажи, чтобы к маузеру мне патронов привезли, — добавил он, опять срываясь на прежнюю мысль, — побольше патронов, мне очень нужны хорошие патроны. — Потом он помолчал и, точно принимая окончательно какое-то решение, добавил: — И хорошие ребята тоже нужны. Только такие, которым бы на все наплевать.

— Как наплевать? — не понял его Федор.

— А так, в смысле жизни.

.....

Их было четверо, четыре человека без имен.

Демон — черный и тонкий, с лицом художника, Гром — невысокий, молчаливый и задумчивый, Змей — с бесцветными волосами, бесцветным лицом и медленно-осторожным поворотом головы, и Фома — низкий, полный, с подслеповатыми, добродушными глазами, над которыми крепко засели круги очков.

И в первую минуту все промолчали — посмотрели друг на друга, а во вторую — крепко пожали друг другу руки, и в третью — Змей повернул голову и спросил так, как будто продолжал давно прерванный разговор:

— Итак, с чего мы начинать будем?

— Найдем с чего, — ответил Лбов. — Садитесь здесь, — он неопределенно показал рукой вокруг, — садитесь и слушайте. Я все наперед скажу. Я рад, что вы приехали, но только при условии, чтобы никакого вихлянья, никакого шатанья, чтобы что сказано — то сделано, а что сделано — о том не заплакано, и в общем...

Револьверы у вас есть? И потом, нужны винтовки, и потом, мы скоро разобьем Хохловскую винную лавку, а потом — надо убить пристава Косовского и надо больше бить полицию и наводить на нее террор, чтобы они боялись и дрожали, собаки...

Он остановился, переводя дух, внимательно посмотрел на окружающих и начал снова, но уже другим, каким-то отечаненно-металлическим голосом:

— А кто на все это по разным причинам, в смысле партийных убеждений или в смысле чего другого, не согласен, так пусть он ничего не отвечает, а встанет сейчас и уйдет, чтобы потом не было поздно.

Гайдар обладал феноменальной памятью: помнил в деталях местность, географические карты, даты и факты, обычно ускользающие от среднестатистического человека. И, конечно же, помнил однажды прочитанные стихи и собственные тексты.

Впрочем, он не верил в этого среднестатистического человека и считал, что миф о нем создал человек в футляре. А революция выбила того, черного и глупого, трусливого, а по сути — несчастного человека из его футляра.

И теперь белому человеку настала свобода — рабство белого человека закончилось, бери вещи и — выходи!..

Но не тут-то было — белые люди по-прежнему пугливо жались к стенке и искали себе в пастухи человека в футляре.

Когда замредактора киностудии — типичный статист — как называл про себя Гайдар таких среднестатистических людей со стадным инстинктом — пытался в очередной раз запрудить текст его сценария, незаметно, быть может, и для самого себя, превращая его в болото из широкой реки жизни, — он вспомнил свою раннюю повесть «Жизнь ни во что».

Слово в слово, как читал наизусть друзьям и коллегам в редакции свои новые вещи — он прочитал про себя — сам себе — ибо сейчас это позарез было нужно — мгновенно предоставленные четкой памятью нужные слова из речей скупого на них Александра Лбова.

Они, как и многие другие написанные Гайдаром тексты, помогали ему, как и всем настоящим пионерам, держаться — держаться, даже когда ты на самом краю, вместе с одной только своей правдой, один на один со статистами.

Так держался Тимур Гараев — тот самый мальчик-командир, по примеру которого мальчишки и девчонки их большой страны стихийно включились в игру, из-за которой партия поначалу чуть было не арестовала автора «Тимура и его команды» за создание подпольной детской анархической организации. Но книге о Тимуре повезло: ее за полчаса прочитал и — будучи в тот день в хорошем расположении духа — тем более что книгу любила дочь Светлана, а ее он обижать не хотел — самый главный человек в футляре. И — не нашел в ней крамолы. После чего анархическую игру прибрали к рукам, назвав его тимуровским движением и влив в пионерскую организацию. С тех пор она стала, как это водилось в стране, запруживаться. Поэтому Гайдар старался без особого приглашения не принимать в движении активного воспитательного участия, оставаясь как бы из скромности немного в стороне. Тем более что все изменилось так неожиданно. Поначалу на читательски-писательских конференциях обыкновенные взрослые люди доказывали ему, что таких честных и благородных Тимуров, таких совсем уж заоблачно-нереальных, в Стране Советов еще нет, ведь коммунизм еще не построен! И лишь однажды нашлась необыкновенная девочка, которая вдруг встала и негромко сказала:

— А у нас в классе есть такой мальчик.

Гайдар тогда, расчувствовавшись, даже бросился ее целовать.

Теперь же — Тимуров видели повсюду, разыскивали их среди ударников и отличников, обязывали идти «все выше и выше», направляли и пестовали.

Но Тимуры в стране, вопреки этой в чем-то оправданной и очень правильной, а в чем-то глупой, как газонная косилка, компании, все-таки оставались.

И это про них он увлеченно писал сценарий, наводя каждым новым поворотом страх на вроде молодых сотрудников киностудии.

Замредактора полагал, что Тимур — а он и был главным героем сценария «Командант снежной крепости», задуманного Гайдаром в продолжение «Тимура и его команды», — сделал шаг в сторону индивидуализма. И Гайдару приходилось, скрепив зубы, все время выправлять поступки мальчишки, делая их, что называется, «правильными». Ведь у замредактора было свое руководство, тоже работавшее с ним над рукописью. А у того руководства — еще одно руководство. И где кончалась и начиналась эта лестница, никто по-настоящему не знал.

Такой правильный — никогда не сомневающийся в себе и в том, что видят его глаза — Тимур уже, право, рассмешил бы любого нормального пионера.

Гайдар попытался донести это до многоступенчатой команды цензоров с помощью введенной в сценарий линии с картиной начинающей художницы Нины, на которой люди разных национальностей — взрослые и дети — красивые, нарядно одетые, дружно и подозрительно легко идут по хорошей дороге в симпатичную гору, которая символизирует не слишком далекий коммунизм. А капитан Максимов и его шофер-красноармеец только посмеиваются над этой женской мечтой о легком счастье.

Но там, наверно, не уловили иронии.

И Гайдар понял, что — проигрывает это сражение.

Как он ни крепился, пытаюсь в очередной раз привыкнуть к тому, что страной завладели статисты — а их он порой приравнивал в глубине души к фашистам, не видя между ними разницы, — сдача своих позиций, пусть и вынужденная, повергала его в гнев и печаль.

— Нет, доктор необходим не мне. Вам необходим доктор!.. — сказал он в сердцах, как-то устояв на ногах и, пристально глядя в глаза секретарше, которая, видимо, была сейчас главной, добавил: — Всем!..

Он сгреб со стола папку с бумагами, поправил папаху, и, бросив стушевавшемуся у стены замредактору: «Я еще вернусь!.. Когда внесу поправки в „Коменданта“... Но предупреждаю — эта правка будет последняя!», направился коридорами к выходу.

Толпящиеся в коридорах сотрудники разлетались, как бильярдные шары, а в спину дул шепот: «Это писатель Гайдар!.. Он немного *того*... Сказались ранения, контузия, ранний опыт войны... Куда?.. Вероятно, в Сокольники».

«И это знают», — горько отметил он царапнувшую душу фразу.

Санаторием «Сокольники» Гайдар просто и с достоинством называл в своих скупых, местами зашифрованных дневниковых записях — ведя их, как разведчик, для себя одного — городскую психбольницу.

И ведь правы, правы были эти, в общем-то, по средним человеческим меркам, добрые к нему люди — сказались ранения, контузия, ранний опыт войны. Плюс сыпной тиф и цинга. Нехорошо получилось — он опять вышел из колеи, то есть распустился.

Он уже клял себя за происшедшее.

Морозный воздух — это был январь 1941 года — был чист и свеж, на снегу прыгала сорока и клевали, незлобно толкаясь, корку сизари. Валялся дымящийся окурочек. Гайдар затоптал его и задумчиво зашагал по тротуару, стараясь не допускать никакой несбалансированности, в том числе в походке.

Он думал о том, как бы поступил на его месте Комендант снежной крепости — такая теперь была должность у Тимура.

Гайдар так живо представлял себе этого серьезного темноволосого мальчика — серьезного в деле и простого и сдержанно-сердечного на досуге, среди своих, не допускающего в потаенную глубь души нецеломудренны взгляды и в то же время способного на лихость и озорство. Он хотел назвать его Дунканом — в честь знаменитого судна из жюль-верновских «Детей капитана Гранта». Но цензоры поднапряглись из-за иностранного имени, усмотрев в нем намек на дореволюционное движение бойскаутов, — про то, что с бойскаутов, которые считались порослью буржуазии, была скопирована пионерия, все предпочитали забыть. И тогда его осенило: его идеальный мальчишка-командир будет, как и его подрастающий сын, Тимуром!

Так как бы поступил Тимур?..

Ну, его Тимур, так похожий на Альку из «Военной тайны» — навеки маленького и вечно живого — наверное, для того, по какому-то неведомому закону, и так рано погибшего, чтобы все увидели, кого они теряют, и навсегда запомнили и сохранили его в себе, — просто подбежал бы сейчас к нему и, взглянув в глаза, звонко сказал бы: «Папа!..»

И, что-то быстро сообразив, пряча мелькнувшую в глубине широко открытых глаз боль, потянул бы его за рукав на пригорок с по-весеннему журчащей и гомонящей детворой, откуда слетали снежки и гордые люди на санках или кусках фанеры, и сделал бы шутливо на льду ласточку... А потом отступил в сторону, пропуская обступающих его со всех сторон ребят и галдящих, свободно заглядывая ему в глаза: «Аркадий Петрович!..»

Где бы ни появлялся Гайдар, дети со всей округи выходили на него, как солдаты из окружения, и наперебой стремились о чем-то поведать ему, предлагали свои услуги и охотно выполняли их. Охотно слушались. Более того — ждали указаний и распоряжений. А он обычно не давал их... Хитровато улыбаясь, он среди них, как ему думалось, жил на равных — просто жил-не-тужил, отвлекаясь от забот иного рода, как, наверное, и жил бы, если б не было войны. И непринужденно принимал на себя командование, когда необходимы были собранность, четкость и быстрота. Все запомнили, как эта невидимая армия нашла в одной из аптек Москвы дефицитное лекарство для тяжело заболевшего сына его друга-писателя, — лекарства не удавалось найти ни родителям, ни их друзьям. Но Гайдар догадался созвать маленьких дворовых командиров и, написав на бумажке название препарата, приказал разбежаться по аптекам... Несколько часов прибежали на квартиру болеющего ребенка к Гайдару посыльные всех мастей и возрастов — зачастую дальние, совсем незнакомые — и сурово рапортовали: «В такой-то аптеке указанного лекарства не обнаружено! Продолжаем поиски!» И лекарство все-таки не нашлось!..

Гайдар чуть не прослезился, вспомнив про это.

Он поскорей свернул в переулок, чтобы дети не узнали его — сейчас в висках стучали молоточки, в правой стороне головы полыхала нарастающей огненной атакой почти уже невыносимая боль, и это, как он знал по опыту, было только начало.

Но самым печальным было другое — он словно тонул в полынье..

Как тогда, в детстве, когда он с одноклассниками катался в Арзамасе на льду Волги и, уже уходя, услышал за спиной крик: «Коля, выбирайся!»

Обернувшись, он увидел провалившегося под лед Колю Киселева, который безуспешно ломал руками, пытаясь выбраться, тонкий край стремительно разрастающейся полыньи. А все, отбежав подальше, с ужасом давали нестройными, срывающимися голосами технические советы.

Не раздумывая, Гайдар подобрался к полынье и спрыгнул в нее. Он и сам не знал, как будет действовать дальше.

Но ноги, к счастью, сразу нащупали дно, и, взяв Колю за руку, он просто пошел по воде, и они вышли вместе на берег.

Может, это с тех времен появилось это ощущение полыньи? И черной воды? И льда кругом? И — грядущего жара если и не утонувшего, то жестоко простудившегося человека.

Алька, Алька!.. Милый, добрый, славный, даже в озорстве деликатный, не стесняющийся своей ласковости и какой-то еще не по-детски проникательный — знающий Военную Тайну — ставший живой искоркой — самой главной искоркой одного потока в пионерском лагере «Артек», про жизнь которого среди суровых и в то же время прекрасных реалий их молодой, широкой, еще не во всем правой и правильной страны и была написана повесть. Это ведь не он, Гайдар, был его создателем

и отцом. Это Алька воссоздавал Гайдара — вытаскивая его каждый раз из полыни, выводил за руку на берег и передавал в руки стоящего перед ним с застенчивой улыбкой повзрослевшего Тимура. А перед Тимуром — невозможно было стоять, не подтянувшись. И Гайдар, скрепя размытое в хлябь сердце, сцепив зубы и разжав кулаки, выпрямлялся. Как почему-то подтягивался перед Алькой встречающий его на своих повсюду проложенных тропах бунтарь Владик, вечно вялывающийся на ровном месте в истории, на которого Гайдар в жизни был похож более всего.

Зайдя в какой-то пустующий двор, Гайдар достал из кармана пузырек с солдатским спиртом и судорожно отхлебнул из него. Так ему удалось на какое-то время задерживаться на белом свете, прежде чем равносильная головной боли чернота не выключит его. И тогда — его отвезут в Сокольники незнакомые люди, быть может, наслушавшись кой-чего по дороге. Больше всего Гайдар опасался, когда был в полубессознательном состоянии или забытьи, своего языка. Это про опасения такого рода он однажды написал Рувиму Фраерману: *«Образовалась привычка врать от начала до конца, и борьба с этой привычкой у меня идет упорная и тяжелая, но победить я ее не могу... Иногда хожу совсем близко от правды, иногда вот-вот — и, веселая, простая, она готова сорваться с языка, но как будто какой-то голос резко предостерегает меня: берегись! Не говори! А то пропадешь! И сразу незаметно свернешь, закружишь... и долго потом рябит у самого в глазах — эх, мол, куда ты, подлец, заехал!..»*

Спирт накрыл пульсирующие лавой сосуды, немного прижал их, и поверх этих виляющих, издерганных сосудов с огненной кровью рванула, как из бочки, мутная накипь. Сейчас он готов был разорвать всякого, кто сунется к нему.

Из серого тумана, в фуражке и шинели с развевающимися на ветру фалдами полами, вышел Тимур Гараев. Он, быстро посмотрев по сторонам, с сочувствием, без всякого страха подошел к Гайдару и попытался поддержать его за локоть. Но Гайдар, попятившись, сделал шаг назад, отстранился. И тем не менее они стояли очень близко, на расстоянии вытянутой руки, друг против друга.

— Товарищ комполка в запасе! — сказал Тимур негромко, но твердо. — Я хоть и всего лишь комендант снежной крепости, но хочу сказать вам, что на спирте вы долго не продержитесь. Вам в больницу надо!..

— Опять больница... — тоскливо протянул Гайдар. — Знал бы ты, что это за санаторий.

— Но ведь в Хабаровске, например, в сквернейшей из больниц, хоть они и все были скверными, была написана Сказка о Мальчише-Кибальчише и его Военной Тайне, как записали вы тогда в дневнике.

— Ну да — и хотел потом шарахнуть по этой больнице фельетоном — про подлецов в белых халатах, эксплуатирующих больных — обворовывающих их, сознательно попускающих равнодушие. Да только у главврача была хорошая спина — фельетон зарезали.

— А вы, товарищ комполка в запасе, действуйте через меня.

— Это как?..

— Нам в школе давеча историк рассказал легенду о Моисее. Ну, Моисей — он был настоящий боец, он рос среди свободной природы благодаря спущенной по течению Нила ослушавшейся фараона матерью корзине, в которой спасся младенцем. Тогда в Египте истребляли, за немногими исключениями, всех младенцев мужского пола — чтобы они, возмужав, не стали сознательными и не сбросили своих эксплуататоров. Но Моисею повезло вдвойне: корзину выловила, подобрав его, сама дочь того противного фараона — эксплуататора — она была хорошей — и воспитала его как собственное дитя. Так Моисей стал сыном двух народов — свободного и пребывающего

в рабстве. И даже проглотил пылающий уголь вместо золота, схватив его с подноса, когда ему однажды лукаво предложили, желая узнать его потенциал, хитрые фараоны учителя — золото или меч? — на выбор. В обоих случаях ему пришлось бы туго — прислужники фараона умертвили бы его, и не помогло бы даже заступничество любимой фараоновой дочери. А он подобрал уголек. Но обжег при этом язык и с тех пор стал косноязычным... Ну, я думаю, это он на самом деле притворился — он, наверное, был прирожденным разведчиком. Понятное дело, что он уже в детстве задумал вывести свой народ из рабства. А тут, после этого детского выбора, все махнули на него рукой, решив, что он кто-то типа нашего Иванушки-дурачка — ни удали, ни смекалки. И уже без боязни обучили его воинскому искусству, полагая, что он станет послушным командиром полка послушного фараонова войска... Но не тут-то было!

— Гм... Своеобразное у тебя воображение... Только скажи, пожалуйста, ты так уверен, что Моисей только притворился косноязычным? Я, например, не уверен. Но — что там было дальше?..

— А дальше, будучи свободным комполка, видя, как гнут спину обращенные в рабство израильтяне, он стал подбивать их к восстанию. Но ему не хватило выдержанности и организованности, а также дальновидности. И фараон тогда легко одолел его руками своих же рабов — они оттолкнули его, когда он попытался остановить их какую-то глупую междоусобную распрю, закричав: «Отойди! Не хочешь ли ты убить нас, как ты убил вчера Египтянина?» А он действительно убил и тайно похоронил одного особенно измывающегося над людьми начальника-стражника. Но нет пророка в своем отечестве. И после этих слов Моисей убежал от своего народа из страны его рабства, не находя себе земли под ногами, разуверившийся в людях, Боге и себе, в Аравию, в пустыню Маданскую. И женился, вопреки расовым предрассудкам, на чернокожей женщине, имя которой переводилось с языка тамошних жителей как «Птица». И сорок лет о нем не было никаких вестей. И верховный главнокомандующий Вселенной — Господь Бог — расслабьтесь, Аркадий Петрович, это всего лишь легенда! — тоже не подавал ему никаких вестей... Легенда не сохранила сведений о том, о чем Моисей при этом думал... Но по прошествии сорока лет случилось чудо — Верховный Главнокомандующий обратился в куст и предстал в пустыне Маданской в виде ослепительного огненного растения. Представляете, какой шок испытал Моисей, — он даже боязливо поежился, когда из этого внезапно образовавшегося не то оазиса, не то миража вдруг раздался голос!.. Этот голос сообщил ему, что земля, которую он так искал, у него под ногами. Но теперь предстоит привести на нее и свой народ, сорок лет вода его по пустыне, ибо только тот, кто прошел пустыню, знает ее карту и сможет провести через опасности и искушения, радости и злоключения также и других. Но тяжело рабство фараона, и много предстоит потерять пота и крови, прежде чем народ выдавит его из себя... А когда Моисей скромно и даже испуганно возразил, что он, дескать, не речист и потому не готов взять на себя руководство такой массой людей, Бог не принял самоотвода, повелев ему идти сквозь пески навстречу его брату Аарону, которому также повелел выйти в пустыню. И там же они вскоре встретились и крепко обнялись. После чего красноречивый и деятельный Аарон стал устами Моисея. Это он, слушая Моисея, который слушал Бога, передавал потом народу — как по телеграфу — приказы и указания.

Так они и выбрались из окружения.

— И что — Аарон правда понимал Моисея? А он, случайно, не своевольничал? Не пописывал ли иногда втихаря — свои собственные приказы?

— Случалось... Однажды он, например, пока Моисей отсутствовал, научил народ профессионально поклоняться золотому тельцу, расплодив всяких нэпманов... Моисей, узнав про это, так рассердился, что даже разбил в сердцах данные ему Богом

скрижали. Но Бог был талантливый военачальником и не прогневался на Моисея, а дал ему взамен скрижалей — свой Завет. Да только тот Завет тоже был временным. Его потом разбил, когда на него тоже стали молиться как на истукана, другой Моисей — некий Иисус из Назарета... И вот, Аркадий Петрович, я вам и предлагаю — сделайте меня своим Аароном! Я буду говорить со страниц ваших книг только то, что вы держите в уме. А вы в это время — просто покуривайте свою любимую трубку и хитровато помалкивайте. Не лезьте вы уже в эти кулачные битвы с опричниками! Поберегите голову на плечах — ведь она у вас золотая!.. А с меня, мальчишки-командира, спрос маленький... Тем более что я — всего лишь бумажный.

Ветер дует в тающий в полынье лед и в грудь стоящего в ней по пояс человека. Жжет морозом раскрасневшиеся, но уже пошедшими пятнами бледности щеки, тело как дубовое. Кто этот не знающий, как ему быть, человек с словно выброшенным на лед золотой рыбкой сердцем — упрямо, бешено бьющимся между льдом и водой? Победа в любом случае обернется поражением, и — ни льда тебе, ни покрывши.

Неужели это в самом деле происходит с ним?!

Но рядом мальчишка-командир, и он не должен ничего заподозрить и тоже шагнуть в полынью.

— Спасибо, комендант, — немного сухо говорит Гайдар, изо всех сил сдерживая гримасу боли. Но глаза его улыбаются, а если в них сейчас недостает живой теплоты, то мальчик поймет — в бою ее ценят на вес золота и отхлебывают, как из походной фляги, скупыми глотками. — Я подумаю над вашим предложением. А теперь — кругом, шагом марш! И — по хатам. Вы — домой, а я — в санаторий. Поеду и в самом деле на несколько дней, подлечусь. Спасибо тебе, Тимур, за легенду. А теперь иди...

— Аркадий Петрович, а можно вопрос?

— Конечно.

— А за что расстреляли Блюхера?

— Что?!

Вскрикнув, Гайдар рванулся грудью на лед, но только разломал его тонкие края и еще больше расширил прорубь. Нащупав какой-то камень и встав на него одной ногой, он гневно подумал, что не только Блюхера, под командованием которого он воевал на Дальнем Востоке, но и умнейшего, культурного, талантливого Михаила Николаевича Тухачевского, который сумел прислушаться к совету Гайдара — тогда безвестного командира-мальчишки, — когда тот осмелился подать легендарному командарму свой план амнистии для восставших от перегибов продотрядов крестьян в тамбовскую кампанию — и шесть тысяч крестьян из десяти вышли из леса и сложили оружие, а потом — разошлись по хатам.

Не говоря уже о многих других советских офицерах и простых гражданах, в число которых попали и пять директоров Детиздата, был арестован и расстрелян и муж его сестры Талки — боевой, действующий генерал. И сестра теперь пряталась, то есть жила как простая, ничего не видящая и не слышащая обывательница, перебравшись из Арзамаса, где арестовали мужа, в Москве, на квартире, которую он оплачивал для нее из своих никогда не задерживающихся в карманах гонораров.

И бывшую его жену, Лию Соломянскую, мать Тимура, статисты-фашисты тоже кинули в застенки, словно Марицу из «Военной тайны», когда расстреляли второго ее мужа.

Гневно рассказывал другу-мальчишке, клянясь никогда не быть успокоенным, такой сидящий у многих в печенках — от такого не отмахнуться! — Владик, про то как томилась в Румынии в застенках у буржуинов его сестра-коммунистка. И как он все равно пойдет ее выручать, переплыв даже Черное море.

«Военная тайна» была написана еще в 1935 году, но пророчества ее, к сожалению, сбывались.

Это своих ответов на такие вопросы — а они никогда не выходили у него из головы — и боялся Гайдар, когда лаконично написал Рувиму — а тот понимал, о чем речь — про готовую сорваться с языка простую и якобы веселую правду, которую давишь, давишь, словно запикивая ее под полы шинели и под лед, чтобы не выдать. И так изоврешься, что уже от начала и до конца живешь в липкой паутине транслируемого наружу образа. И порой уже и не можешь вымолвить простого и ясного слова.

Своих ответов, брошенных в лицо фашистам вслух!

Этого он, как бывалый разведчик, боялся больше всего.

Ведь от этого зависели жизни других людей.

А в заложниках у главного человека в футляре была практически вся страна, не исключая его ближайших родственников и соратников, а также их жен, мужей и детей. И даже — страшно даже подумать — мужей и жен своих подрастающих собственных детей, как догадывался Гайдар, когда придет время, главному человеку в футляре тоже ничего не стоит отправить в застенки.

Точно такой же вопрос — про Блюхера — задал ему однажды подрастающий сын Тимур. Но персонажа «Тимура и его команды» Гайдар назвал не только в честь сына... Книги его были двусмысленны или, лучше сказать — многослойны. Первый их слой был как маскировочная трава-мурава под затаившимся в поле полком, ожидающим команды: «В атаку!..» Полк нервно, но терпеливо выжидал момент, когда подтянутся все резервы и они перейдут в контрнаступление по всему фронту! И некоторые имена тоже были многослойными, отдавшись связанным с ними ассоциациям, многое можно было понять об их носителях и связанных с ними реальных ситуациях.

Под прикрытием имени собственного сына — хотя он и правда назвал своего героя в честь сына и был несказанно рад этой удачной находке — Гайдар запечатлел и память о дорогом ему человеке — Михаиле Васильевиче Фрунзе. Тот принял участие в его судьбе и, можно даже сказать, жизнь спас, влив в него новые силы и надежду, когда он чуть руки на себя не наложил после того, как его окончательно комиссовали из армии. Фрунзе тогда посоветовал двадцатилетнему командиру-пенсионеру обратиться к писательству и поделиться тем, что видели его глаза на заре революции, с такими же молодыми людьми — кому не довелось понюхать пороха.

А потом Михаила Васильевича резали на операционном столе хирурги-статисты, уговорившие его силами чуть ли не всего ЦК немедленно заняться здоровьем. С теми, кого в народе очень любили, выгодней было расправляться без большого шума.

Ну не мог он ответить тезке Тимура Фрунзе — известного в стране военного летчика, выбравшего вслед за своим легендарным отцом военную карьеру — как ответил когда-то собственному сыну, — что Блюхер, наверное, допустил какие-то просчеты в командовании, когда служил на Дальнем Востоке.

И Гайдар, посмотрев своему легендарному литературному Тимур в глаза долгим и даже каким-то настойчивым взглядом, отрывисто обронил:

— За что был арестован Блюхер?.. Неправильная постановка вопроса. Надо бы спрашивать: почему он был арестован? Потому что у нас в стране еще слишком много негодяев и трусов, мой мальчик... А теперь иди... И, пожалуйста, не оглядывайся.

Гайдар почти уже заворачивал за угол дома к трамвайной остановке, когда в спину ему донеслось:

— Аркадий Петрович, вы тоже там — держите язык за зубами... Не выдавайте военную тайну!.. Они вас пытать будут — шоковой инсулиновой терапией. Говоря, что вы как настоящий офицер-коммунист должны испробовать все способы лечения —

а это сейчас самое новое — и даже одним из первых испытать на себе внедряемый в советскую психиатрию метод. Я знаю, что люди с волей послабее теряют от него сознание, но вы ни разу не теряли. И все-таки...

Гайдар резко оглянулся.

Но за Тимуром уже и след простыл.

— Вот хитрец, — усмехнулся он, поднимая воротник, — хотел еще убедить меня, что это он, а не я — Аарон...

«Я знаю, что я буду делать, чтобы не сойти здесь с ума. Я буду плыть», — подумал Гайдар, прежде чем постучать во второе отделение Первой московской психиатрической больницы. Это ее он, чтобы не пугать самого себя, как и все другие пациенты и жители Москвы, называл в дневниках — «санаторий в Сокольниках». И предпочитал приезжать сюда из года в год сам — как только появлялись первые предвестники сумеречного состояния. Редко когда доводилось привозить его уже в полубессознательном или буйном состоянии — все это наступало уже здесь, в отдельной палате, под присмотром уже порядком постаревшего неизменного доктора Абрама Моисеевича.

Минуя охранников, тоже знавших его в лицо и зачем-то приставлявших к козырьку руки, а также приемное отделение, откуда высыпали поглядеть вслед по-военному одетому писателю-психу молоденькие медсестры, он сразу направлялся к массивной красно-коричневой двери у одного из двухэтажных корпусов и, содрогаясь от неизбежности, стучал в грохочущее железо.

Охранник, тоже узнав его, молча отодвигался вместе с хорошо смазанной задвижкой замка, и за спиной вошедшего Гайдара что-то сухо защелкивалось.

Теперь уже отсюда даже писателю и бывшему комполка было не выйти без особого разрешения, разве что на небольшую прогулку в сопровождении медсестры, на что тоже требовалось распоряжение.

Он обратил внимание, что в помещении неспешно наводят косметику: стены припорошила свежая побелка и стоял боком на полу, прислоненный к одному наполовину отштукатуренному полуразвалившемуся углу красный стенд с выведенной белой краской надписью, содержание которой он нарочно пропустил.

Здесь, прямо у входа, и был кабинет Абрама Моисеевича — он был заведующим вторым отделением.

Слева от порога сидел на корточках какой-то старик в трусах и чистил большим изогнутым ножом паркет. Гайдар сначала подумал, что это рабочий, но тот поднял голову и, не отрываясь от дела, быстренько рассказал ему с большущей простодушной улыбкой на гладко выбритом лице, что у них сегодня был банный день и он славно попарился, а теперь хотел бы, чтобы кто-нибудь плюнул ему в глаз.

«Плюньте, пожалуйста, мне в глаз», — сердечно попросил человек, поднявшись со своим ножом, и встал напротив с немигающим взором — и глядя на вновь вошедшего, и в то же время — как не глядя.

Гайдар дунул ему в глаз.

Человек блаженно осел на пол и опять принялся водить по паркету заплававшим в дрогнувшей руке лезвием. Теперь было видно, что это не старик, а человек лет пятидесяти.

Гайдар толкнул дверь в кабинет.

Абрам Моисеевич сидел за своим массивным столом и быстро писал.

— А-а-а!.. Аркадий Петрович! — проговорил он, широко улыбаясь и сразу встав, крепко пожал ему через этот стол руку, слегка задержав ее в своей мягкой, влажной ладони. — Опять к нам!.. Что-то вы зачистили — мы вроде виделись в последний

раз месяца два назад. Ну ничего-ничего, вы же знаете — пройдет каких-нибудь два-три дня, ну, от силы неделя-другая, и мы вас от этой напасти ос-во-бо-дим!.. Ну что у вас там опять случилось? Опять пили, пикировались с женой?.. Хотя, насколько я помню, жена у вас наконец теперь подходящая — она с вас пылинки сдувает, и вы ее тоже не огорчаете своими неожиданными поступками, разве что здоровье ее ваше огорчает. Сегодня, я думаю, она уже начнет звонить, справляться.

— Да какие там неожиданные поступки, — проворчал Гайдар. — Я сейчас даже практически не выезжаю из Клина — разве что в Москву. Война на носу.

Он осекся. Хорошо, что Абрам Моисеевич, который лечил его еще с двадцатых годов, был сейчас один, без своего нового зама, который носил под халатом всегда отутюженную и накрахмаленную гимнастерку. Первый зам профессора был не военным медиком в отставке, а действующим сотрудником ОГПУ. Гайдар это знал наверняка, а все остальные могли и не догадываться.

О надвигающейся войне говорить было запрещено — в лучшем случае за это могли обвинить в распространении панических настроений. Поэтому Гайдар, кашлянув, добавил со смешком:

— Что-то я и правда совсем раскис. Видимо, скоро отправлюсь в паническую атаку!..

Абрам Моисеевич умел пропускать мимо ушей то, что слышал иногда от Аркадия Петровича. Проворно выскочив из-за стола, он схватил молоточек и, не теряя дружелюбия, вкрадчиво предложил:

— Может, поднимете гимнастерочку?

Вздыхнув, Гайдар расстался с папачкой и шинелью, которые были тут же помещены рукой профессора в шкаф рядом с собственной шубой, и обнажил покрытую шрамами грудь, где виделись несколько запекшейся свежих порезов.

Это произошло с ним утром, когда Дора ушла на базар, а он готовился к встрече с редактором. Приемная дочь Женя, в честь которой он назвал подругу своего литературного Тимура, еще спала, и он, бреясь, не выдержал и провел несколько раз бритвой по коже — это почему-то помогало пересиливать боль и темноту в голове, оставив скопившуюся черной копотью ярость.

— Нда... — произнес Абрам Моисеевич тоном знатока и ценителя той живописной картины, которая существовала под гимнастеркой известного детского писателя. — Вы бы, дорогой наш человек, хоть бы йод с собой носили. Стыдно, товарищ!.. А болевой синдром облегчается смоченным в растворе соли полотенцем... Кстати, а вы знаете, что птицы выщипывают себе перья, когда их жизненное пространство оказывается уже, чем это необходимо их природе?.. Вот и думайте теперь... Ну, так что, будем лечиться?.. Ваша палата свободна. Там у нас три дня лежал настоящий одного из московских храмов, но Сергей Иванович перевел его в общую палату, чтобы был светоч тьмы поближе к народу. Так что — милости просим... Ступайте уже, Аркадий Петрович. Мы сделаем для вас все, что можем. Постучите там непосредственно в отделение — дежурная сестра вам откроет.

Абрам Моисеевич тоже умел в отсутствии Сергея Ивановича вплетать в беседы притчи, словно усмешку в усы.

— Если Дора позвонит, передайте ей, пожалуйста... Хотя ладно — просто скажите, что приехал сам, а она пусть не приезжает.

— Да, дорогой Аркадий Петрович, еда у нас хорошая — супруге печь пирожки ни к чему. Пусть лучше потихоньку сушит сухари... Шутка!.. Профилактическая!.. Ха-ха...

Слабо улыбнувшись, Гайдар развернулся и, как и планировал, поплыл. Краем глаза он успел зацепить край облака за оконной решеткой. В нем запутался обрывок проволоки, в котором он разглядел журавля, оставшегося в заводи, когда другие его братья улетели. Тот остался, потому что и не помышлял улетать в жаркие страны — он

был слишком привязан к родной земле. Этот журавль плавал в своей полынье, как ошпаренный, поглядывая стекленеющим глазом на растущий повсюду снег.

Гайдар мысленно помянул его и указал на забытую на еще не окрепшем льду каким-то незадачливым, торопливо обратившимся в бегство рыболовом жестяную корбочку с крючками. Одними глазами — предложил в нее сесть, сдав природе крючки. Плотно закрыться крышкой.

И двинуться в путь.

Но по земле, а по воде.

Не по горизонтали, а по вертикали.

Не вверх, а вниз...

Дальше Гайдар долго стоял у огромной, как ворота, белой двери и стучал, иногда отступая на шаг и переминаясь, в ее гулкую жесть. Но этот стук тонул в шуме, который царил внутри. Иногда кто-то подбегал с той стороны и, глядя в замочную скважину, молящее спрашивал:

— Ты кто?.. Посмотри, пожалуйста, нет ли там, в комнате для свиданий, моей мамы?

Но Гайдар молчал, как капитан Немо. Ведь ему было необходимо дотянуть «Наутилус» до Таинственного Острова. Надо было спасти журавленка!..

Задыхаясь, он заколотил в дверь кулаками изо всех сил, и тогда она открылась. И санитарка, сухо заметив: «В первый раз вижу больного, который ломится в больницу», пропустила его дальше по коридору, где ходили в пижамах и невзрачных халатах принявшиеся сразу же с жадным любопытством всматриваться в его руки больные — здесь были и мужчины, и женщины, и дети. Он не понял, почему такое смешение, да и не стремился понять — он шел, как сквозь желтые пески, в свою норку, а она была справа — третьей по счету от конца коридора, который заканчивался стеной, но имел поворот в маленькую столовую без окон.

Ну, вот он и дома — в своем «Наутилусе»!.. Сам себе — командир!..

Вот единственная койка с простым зеленым одеялом, тумбочка и стол с двумя стульями. Сейчас ему принесут пижаму и новое белье. Пижаму он будет надевать — такое исключение делали только ему — как и все нормальные люди, только ночью. А днем — по-прежнему ходить в гимнастерке, на левой стороне которой, прямо, где сердце, висел его талисман — орден «Знак Почета».

Орден — он в это крепко верил — прикрывал его от смерти. Поэтому с гимнастеркой он не расставался ни при каких обстоятельствах.

Он иногда машинально поправлял его, как бы подержавшись рукой за сердце.

Израненное, сочащееся алой кровью сердце, словно плавало в полынье — там, на поверхности воды, смешавшейся с его подавленными, тщательно скрываемыми слезами. Оно размывалось этими слезами и теряло спасительную соль, которая превращает в таких случаях другие сердца в кремь. Вместо твердости — снег. Вместо воздуха — смутные, туманные очертания невидимого берега. Где взять размах крыльев, когда они уже заперты в этом неумолимом к нему чужеродном пространстве, бывшем когда-то, пока длилось лето, таким милым, ласковым, своим.. Откуда эта жестокость покрывшейся пустынными льдами некогда родной земли?..

Но он сам — такой большой, сильный и в то же время непосредственный, похожий, как все говорили, на большого ребенка, был еще не в полынье. И мог еще выжить, дотянув до тепла. Для этого надо было добраться до своих, вырваться из замкнутого круга льдов. Не превратиться, подобно Лотовой жене, в соляной столб.

Что ж... Капитан Немо с горькой улыбкой оглядел свой подводный корабль. Внутри он был полон всеми возможными и невозможными вещами, как реальными, так и воображаемыми, — в нем, как в Ноевом ковчеге, было «от каждой твари — по паре». Это всего лишь означало, что он обладал всеми потенциальными возможностями,

на какие был способен человек. Всего лишь потенциальными возможностями... Но люди не замечали «Наутилуса», даже если он стоял во весь свой рост прямо в их гавани. Они не привыкли замечать невозможного, а когда вынужденно сталкивались с кораблем в нейтральных водах, то принимали его за излучающего электрическое сияние необычайной мощности и красоты — гигантского кита. И тут же принимались охотиться, чтобы убить и изучить.

Но их стрелы были недостижимы до него. У «Наутилуса» была такая броня, что от нее отскакивали даже бомбы, причем любого калибра — даже потенциальные, еще не воплотившиеся в видимом мире в качестве изобретения. В то время как живущий внутри капитан поглядывал с хитровой улыбкой изнутри в маленькую прорезь из своего наблюдательного пункта — одного из самых своих любимых мест на корабле. Потом он, насладившись зрелищем человеческой глупости, уходил к еще более любимым и плодотворным делам — он шел в лабораторию, где было все для того, чтобы творить.

Там он ежедневно совершал удивительные открытия, молниеносно черпая знания словно из ниоткуда, и тут же записывал их быстрым почерком в книги, которые потом присоединял к хранящейся здесь Всемирной библиотеке. Он твердо знал, что здесь его открытия никогда не пропадут и обязательно принесут пользу человечеству, когда станут своевременными.

Сегодня у капитана Немо было особенно важное и непростое, немного в чем-то заманчивое, а в общем-то — очень грустное дело: он решил написать книгу о том, как человек раскалывается на куски, после чего самое лучшее, что в нем есть, выпадает в осадок, оказавшись за бортом его собственной видимости. Поэтому едва обмакнув перо в простую чернильницу с фиолетовыми чернилами, он ненадолго задумался, но тут же, спохватившись, решительно отвел властной рукой всякие мысли, отряхнув их, как сор.

Кругом, иногда с любопытством приблизившись к стеклу, плавали за огромными люками всевозможные обитатели океана. Косяки проплывающих сейчас рыб были как золотистые струйки, они казались осенними листьями на белых ветках кораллов и напомнили ему милые сердцу березы, которых он не видел с тех пор, как отправился в свое бессрочное одинокое плавание, поклявшись никогда больше не показываться людям. Умение создавать такой совершенный мир в глубинных водах океана, где тоже царило совершенство, далось ему слишком дорогой ценой — ценой вынужденного молчания. Ведь он говорил или — что еще хуже — когда говорили другие, корабль его испарялся, как призрак. Особенно когда они оживленно показывали на него пальцами, не говоря уже о тех случаях, когда кто-то принимался хватать гарпуны или заряжать пушки. И лишь однажды к нему на корабль случайно попали трое потерпевших кораблекрушение пассажиров самого мощного из посланных на поимку столь таинственного неизвестного зверя полувоенного судна, и один из них — профессор Аронакс, который мог бы стать для него Аароном, каким-то образом попал на его волну и, кажется, все понял без объяснений.

Но Аронакс ушел к людям, и капитан Немо с болью в сердце сам благословил его на этот побег с корабля, куда невозможно вернуться, однажды его покинув.

Впрочем, в этом последнем пункте он был уверен не так крепко и теперь собирался изучить этот вопрос. То есть — узнать ответ у батюшки Нептуна, используя свою библиотеку.

Откинувшись на спинку стула, он посмотрел в толщу воды затуманившимся взором, оглянулся на ряды книг на полках, и сразу же лицо его стало спокойным, а взгляд опять прояснился и озарился таким же таинственным светом, какой излучал «Наутилус» в ночи, когда этот свет в нем не сливался с солнечным.

...Но в палату тихо вошли двое. Это были профессор Абрам Моисеевич и его первый зам Сергей Иванович, вероятно доцент. Возможно, они хотели как лучше, но рука капитана Немо застыла, и перо, выскользнув из руки, как из вывихнутого крыла, упало на пол. От этого по всей Вселенной прошел такой грохот, что вздрогнули даже улетевшие в Африку грачи.

— Перо, поднимите перо... — слабо простонал он.

— Вы ручку потеряли, Аркадий Петрович? — торопливо сказал профессор и, наклонившись к полу, незаметно для своего зама достал из нагрудного кармана одну из своих ручек, которые носил там на всякий пожарный случай, и положил на тумбочку. — Вот возьмите, пожалуйста. Или пусть пока полежит, пока вы отдыхаете. Ведь вы, наверное, утомились с дороги и хотели бы прилечь?..

— Прилечь?.. Да... Хорошо...

— Ну вот и ладненько. Вы отдыхайте, а Сергей Иванович — чисто из бюрократической необходимости — задаст вам несколько вопросов. В прошлый раз — когда вы промелькнули у нас всего за трое суток — он не успел с вами познакомиться. Знаю-знаю, голубчик, вас ждали на партконференции, мы вас подлечили и немедленно выпустили, как птицу дозорную — важную, перелетную.

Оба доктора, взяв стулья, садятся у кровати. И Сергей Иванович — человек с непроницаемым, практически лишенным мимики лицом, маленькими холодными глазами, глядящими прямо на собеседника, пронизывающими его насквозь мелким сеющим светом, который не задерживается и идет куда-то дальше, возможно сквозь стену, и, выйдя наружу, растворяется во всеобщем зимнем дне, — принимается за форменный допрос:

— Итак, пациент Голиков Аркадий Петрович, тридцати шести лет. Он же — детский писатель Аркадий Гайдар. Детские годы провел в городе Арзамасе Нижегородской области. Состоит в гражданском браке с Дорой Матвеевной Чернышевой. Имеет приемную дочь Женю и сына Тимура. Последний живет с матерью — бывшей супругой пациента... э... э... Рахилью Лазаревной Соломянской, — дочерью старого большевика, уроженкой Пензы. Переименованной пациентом на заре их знакомства в Лию, что и закрепилось в качестве имени. Недавно отбывшей срок наказания. Бывшая супруга к встречам отца и сына не благоволит и чинит всяческие препятствия. Я правильно все говорю?..

— Да-да, все верно, — машинально вставил профессор.

Сергей Иванович, не моргнув глазом, проводит пальцем по маленьким усикам над пухлой губой и приглаживает ладонью жидкие светлые волосы. На секунду-другую отводит взгляд в сторону и, как бы прицелившись, опять погружает его в лицо лежащего перед ним человека.

— А правда говорят, что это после вашего звонка, точнее, даже ряда звонков врагу народа Ежову, бывшего тогда наркомом НКВД, срок вашей законной супруги — ведь официально вы еще не развелись, не так ли? — сократили до чисто профилактических двух-трех лет?

— А это тоже вписано в историю болезни?

Стараясь изо всех сил не терять самообладания и именно из-за этого обычно и теряющий его, Гайдар спросил это с деланным, не лишенным иронии спокойствием, однако в голосе его, который сразу приобрел глубину, ошетилилась гордость. Про то, что сказал этот наглый, приставленный к интеллигентному профессору зам, знали только два его умных и надежных друга-писателя — Рувим Фраерман и Костя Паустовский. Они познакомились давно — на московской квартире супругов Фраерманов, где собирались, шутливо называя с легкой руки Гайдара как бы в честь пушкинского «Арзамаса» свои вечера «Конотопами» — Малыми, Средними и Большими — тогдаш-

ние молодые писатели. На «Большие Конотопы» собиралось порой человек двадцать. Шумно веселились молодой гудящей гульбой. И не знали, не ведали, какое время скоро будет на дворе... Только с Рувимом и Костой он говорил как на духу, хотя, впрочем, и с ними не все и не обо всем, — по неписанному кодексу чести все трое старались не отяготить совесть друг друга лишней информацией, которую можно невольно выдать — ведь в подвалах Лубянки ломались почти все.

Три друга — Гайдар, Фраерман и Паустовский — годами жили в ожидании ареста. Это ожидание стало частью их повседневного существования и одним из стимулов регулярных побегов из Москвы в Мещерскую сторону под Рязанью, где Паустовский прикупил в деревеньке Солотча, перестроив под дачу, сарай с простым неухоженным двором. Там они обычно и говорили обо всем, что накопилось в душе, — не прямо, а скорее по касательной, полагаясь на понимание без слов. Охота и рыбная ловля, многодневные походы с ночевкой по окрестным лесам, сбор ягод и грибов были тут не только отдушиной, но и прикрытием для встреч, когда приоткрывались и залечивались дружеским теплом многие раны. Особенно был он близок с Рувимом — добрым, интеллигентным человеком, написавшим тонкую повесть о первой любви «Дикая собака Динго».

В доносчиках эти люди точно не значились. Значит, Сергей Иванович пополнял картотеку своего слишком точного ума из секретных источников. И ими, источниками, было приказано палить в Гайдара, как и во многих других людей, выделяющихся из массы и, следовательно, имевших влияние на народ, непрерывной очередью, но — пока холостыми патронами. Да народ, собственно, и собирался в народ, когда в нем появлялась соль, которую составляли эти люди. Вот только соль эта была кристально чиста и сияла из неведомой Глубины, растворяя прежнюю соль, лежащую, как скорбная память, вдоль русел всех высохших рек, которые когда-то выплакал и не смог забыть потом человек. И именно это-то не устраивало всех любителей вечных соляных столпов.

И не глядя на глядевшего сквозь него в стену, на которой, видимо, вырисовывались какие-то только ему одному понятные узоры, доцента-психиатра с погонями ОГПУ под халатом, у которого, он почувствовал это кожей, задвигались желваки, Гайдар хрипло выпалил:

— Да, Ежов был самый настоящий враг. И я, хлебнув, конечно, для храбрости... да нет, не для храбрости... а для того, чтобы притвориться дураком, спрятать свой рост... ведь... э-э... нарком был ростом не ахти... В общем, я звонил ему из автомата несколько раз. Несмотря на то, что присланный им товарищ после первого же звонка, явившись ко мне ранним утром домой, срезал мой телефонный аппарат и демонстративно унес, перерезав и необходимые для связи провода, а я после этого спал одетый, так как был готов ко всему. Но я наркому, вопреки чьим-то надеждам, не грубил — я тонко разговаривал, как с его величеством тигром. Наверное, это и спасло Лию. С тигром поговорили как с тигром. Признали его могущественность. А могущественный тигр может позволить себя даже маленькие слабости в виде случайно промелькнувшей доброты.

Гайдар устало прикрыл глаза. Он очень обнажился и теперь тяжело дышал, а в горле нарастало удушье. Когда такое случалось не за больничными стенами, он мог даже внезапно выпрыгнуть в окно первого этажа, как это однажды произошло, например, в Перми, во время беседы с редактором газеты, где он тогда работал. Или сломать какие-то вещи, перебить посуду, ударить любого высокопоставленного подлеца и, увы, толкнуть в грудь или оттолкнуть любого друга, который сунется с поучениями.

— Забавно, — обронил зашелестевшим голосом Сергей Иванович, склонив голову к своим бумагам, и легкая улыбка, промелькнув змеей, словно юркнула в ровные ша-

ги по осеннему лесу практически невидимого в тумане человека. Доцент оставлял только шум шагов, вот Гайдар и не пытался говорить с ним лицом к лицу, вслушиваясь не столько в слова, сколько в шорохи, — это, наверное, желая спасти наше юное поколение от рышущих повсюду тигров — увы, устранив деления на антагонистические классы, мы не смогли выжечь каленым железом биологическую иерархию с ее борьбой за выживание — вы написали в 1938 году «Судьбу барабанщика»? В основе повести — судьба хорошего и талантливого мальчишки, который катится под откос после ареста отца, когда общество культурно делает вид, что не видит его беды. Мальчишка справляется, так как вы, как автор, проводите его через такие ситуации, которые только закаляют его. К тому же вы ненавязчиво даете советы и другим мальчишкам — уже читателям — как устоять и не сломаться в мире мелькающих чуть ли не за каждым кустом тигриных хвостов. В официальной редакции отец был арестован за кражу, но мы-то с вами знаем, что вырезала цензура. Невинный человек сел в тюрьму по доносу. И слава богу, вскоре вышел... Еще бы, ведь автор «Судьбы барабанщика», можно сказать, дал звонок своей трогательной историей на самый верх!.. И это в то время, когда постановлением правительства были разрешены расстрелы детей врагов народа начиная с двенадцатилетнего возраста... А вы заметили, что ваши усилия оценили?

— Да, заметил... Полетели с должностей люди, занимавшиеся в редакции текстом. Были и аресты. А тираж после первого бурного успеха у читателей был изъят из книжных магазинов и библиотек. Я сам ходил по магазинам и пытался спасти, выкупив хоть что-то. И, простите, тоже спал одетым — ожидал человека, перерезающего тончайший провод связи.

— Ну-ну... Не будьте так мнительны и не благодарны. Все это мелочи. Главное, что в итоге вы, лежа одетым, в конце концов развернули свежий номер «Правды» и увидели свое имя в списке награжденных орденами писателей. Вам тогда дали орден «Знак Почета» — тот, который вы никогда не снимаете. Это, конечно, не орден Ленина, но все же, поверьте, ваше имя не вычеркнули из составленного Фадеевым списка искренне. А какой триумф был потом, когда вся эта мелочь ринулась срочно набирать заново вашу «Судьбу барабанщика». Издатели наперебой принялись заключать договора на переиздание и всех других ваших книг. Они стали не только популярными, но и неплохо оплачиваемыми.

— Вы хотите сказать, что там, наверху, мне, как и герою «Судьбы барабанщика»... э... э... как бы это выразить поточнее... устроили испытание?

— Да, да, дорогой вы наш писатель, именно так. И вы его прошли с честью. Не то что ваш коллега по писательскому цеху — некто Пастернак, который, когда ему позвонил Сам, чуть не омочил подштанники не то от страха, не то от подобоострастного восторга и так не вступился за еще одного своего коллегу — некоего Мандельштама, которому грозил тогда арест. Несмотря на то, что Сам два раза спросил его: «Как нам быть с Мандельштамом? Посоветуйте нам что-нибудь. Ведь он ваш товарищ». Но Пастернак был так экзальтирован, что ответил: «Вам виднее. Я просто хочу говорить с вами, товарищ Сталин». Этот неприличный разговор не оставил никакого следа в душе Главного. А вы — вы давали звонки наверх сами, причем неоднократно. Вам вообще очень подходит это звонкое слово «Товарищ».

Теперь был несколько экзальтирован Сергей Иванович — Гайдар улавливал это по треску сухих веток у того под ногами в его туманном лесу. Видимо, кое-что из сказанного было правдой. Этот кем-то инспирированный спектакль включал в себя не только испытания кнутом и пряником, — а в пряниках была прописана и обязательная лесть, — но и крупницы правды, которую Гайдар привык чисто по-военному машинально отмечать.

Как ответить на эту куцую правду — способной хлынуть, как кровь из горла, правдой своей? И стоит ли вообще отвечать тигру, случайно оказавшись с ним у водопада накануне большой засухи, когда по законам джунглей объявляют временное перемирие? Такой большой засухой была надвигавшаяся неизбежная война, и тигр был вынужден обзаводиться союзниками.

Нет-нет, стоп!.. Не нужно сдавать себя с потрохами тигру. И других через эту комом идущую изнутри свою правду подставлять под удары непредсказуемой судьбы под лапой коварного и непредсказуемого тигра тоже не следует! Но все-таки ответить надо, и ответить как следует. Беря огонь на себя, но отбежав в сторону, противоположную от ни в чем не повинных людей.

— Слово «товарищ» вообще-то не звонкое, а твердое, — сказал он, приподнявшись рывком на локте и метнув свой взгляд в глаза несколько отстранившегося и сжавшего губы Сергея Ивановича, — я понимаю про испытания и все прочее... Социализм не устранил человеческую подлость, и именно это и стало камнем преткновения для коммунистов старой, не ленинской закалки. Троцкий даже собирался физически устранить крестьянство как вид, так как понял, что инстинкт собственника у этой категории советских граждан не устраним в принципе. Но с этим надо было жить дальше — с этой внезапно открывшейся правдой про то, что с улучшением и уравниванием условий материального существования люди не становятся лучше автоматически. Ленин это понял и поэтому ввел нэп, хоть после этого и повылазило изо всех щелей попрятавшееся от лихих кавалерийских атак мещанство. Я сам был в революцию кавалеристом. И поэтому тоже тогда понял: эту дрянь из человека саблями не выкорчевать. Людские души поднимает и зовет в высоту чистой и свободной жизни только благородство. Благородство — это единственная суть, которая скрывается под одеждами мнимой сложности любой религии, в той числе нашей, которая зовется «коммунизм». Одежды привлекают обывателей и экстремистов, а людей доброй воли зовет ввысь суть с ее полетом духа и непочатым краем работы. У нас же некоторые товарищи, вроде того же так сильно преткнувшегося товарища Ежова, по-прежнему веруют в кавалерию Троцкого, хоть на словах и отрестились от троцкизма. Вместо того чтобы зажигать души слабых людей собственным благородством, они запугивают их, обращаясь в обратней в погонах. Так удобней — просто безжалостно вырывать плевелы в самом зачатке. Не оставляя тем самым шанса пойти в рост настоящему хлебу вместо какой-то куцей, опасливой, уравненной, пресной и, вероятно, лишенной подлинной питательной ценности пшеницы... А знаете... эти горе-троцкисты в конце концов так слепнут, что уже совсем перестают видеть новый день и народившихся новых людей. Как тот пугающий соседей по даче прогулками по саду с маузером и саблей старый дед-инвалид, которого изображает на сцене любительского театра в «Тимуре и его команде» дядя Тимура Георгий. Я, пожалуй, даже процитирую по памяти:

Георгий и Ольга стояли на подмостках, такие простые, молодые и веселые, что Жене захотелось обнять их обоих.

Но вот Ольга накинула ремень на плечо.

Глубокая морщина перерезала лоб Георгия, он ссутулился, наклонил голову. Теперь это был старик, и низким звучным голосом он запел:

Я третью ночь не сплю. Мне чудится все то же
Движенье тайное в угрюмой тишине,
Винтовка руку жжет. Тревога сердце гложет,
Как двадцать лет назад ночами на войне.
Но если и сейчас я встречаюсь с тобою,
Наемных армий вражеский солдат,

То я, седой старик, готовый встану к бою,
Спокоен и суров, как двадцать лет назад.

— Ах, как хорошо! И как этого хромого смелого старика жалко! Молодец, молодец... — бормотала Женя. — Так, так. Играй, Оля! Жаль только, что не слышит тебя наш папа.

Если вы припомните, когда после подвига Павлика Морозова в нашей литературе началась кампания по массовому производству Павликов, меня тоже попросили написать повесть об очередном Павлике Морозове. Что было сигналом большого доверия и большой ответственности. Я назвал ее «Синие звезды», но после командировки в родное село настоящего Павлика запил и повесть забросил, несмотря на то, что ее начало уже печатали в «Пионере». В дневнике я записал: «Очевидно, „Синие звезды“ должны быть закрыты тучами». А в «Пионер» написал: «И вообще: никаких кулачко-вредительских сенсаций! Довольно плакать! Это пусть Гитлер плачет...» К счастью, меня оставили в покое.

— Я понял вас, господин Д.Артаньян из Арзамаса, — сказал Сергей Иванович, переставший изучать узоры на невидимой стене, так как был пойман в петлю взгляда человека, которого это он должен был поймать, отчего в голосе его появились сердитые властные нотки, — Что ж вы тогда сразу после того, как «Пионерская правда» начала печатать «Тимура и его команду», сбежали в свой Клин под крыло к двум женщинам — жене и маленькой приемной дочери, вылили под забор чернила, закопали ручки и перья и повестили объявление на забор: «Здесь живут охотники и рыбаки, а писатели здесь не живут»? Так сильно струхнули на сей раз, ожидая прихода срезающего провода человека?..

— Нет. Признаюсь — просто устал. Я понял тогда, что все равно вы, взрослые люди, в Тимура не поверите и тоже со временем выкорчуете его с нашей почвы путем привития к культовым сортам пшеницы. Обязете постоянно держать, как штангу на плечах, свое твердое слово — то, какое подсказывает партия. А ведь он и так умеет держать твердое слово, держать до последнего, пока оно не станет комом под тяжелым-тяжелым камнем. Жалко мне стало Тимура. Вот так.

— У вас богатое воображение и причудливые ассоциации. Ну, это и понятно — вы человек нездоровый. Фрейд бы сказал, что это последствия детских травм.

— А разве Фрейд уже перестал быть представителем чуждой нашему духу буржуазной науки? Неужели вы и к Фрейду меня привьете?.. Ей-богу, не ожидал!

— Ну, это он для вас буржуазный, а мы, специалисты, читаем все. Поскольку безличны.

— Безличны?.. Это как?

— Мы не руководствуемся эмоциями и субъективными пристрастиями. Мы делаем дело. Только дело. Только и всего. И поверьте: только в белых перчатках его не сделать. Поэтому извольте выслушать мнение специалиста — вам испортила жизнь не война, куда вы в первый раз сбежали в русско-германскую войну на фронт к отцу, будучи еще совсем ребенком, — тогда вас вернули с дороги, — а ваша мать. Склонная, как и вы, к экзальтации и неожиданным поступкам, она воспитывала вас как анархиста. Вы не усвоили никаких ограничений внешней и внутренней среды, так как с вами с пленок говорили как с равным и показывали вам жизнь такой, какая она бывает лишь в сказках об Аркадии, волшебной стране волшебного рая, где люди просты и нелукавы, как боги. Но Бога, дорогой любитель всяческого волшебства, попросту нет. Поэтому кто-то должен делать на Земле его черную работу: отделять похожих на лягушек людишек от их болотной грязи и мыть их, мыть. Промывая в том числе и мозги.

— Не как боги, а как дети...

— Что-что?..

— Уже ничего... Ладно, проехали. Уважаемый товарищ, мне даже стало жалко вас почти так же, как Тимура. Ведь вы даже представить не можете, насколько у меня была хорошая мать и каким подарком судьбы был мне отец. Они дали мне прекрасное воспитание и образование, и это действительно им я всем в себе обязан. Моя мать, Салькова Наталья Аркадьевна, дворянка из обедневшей семьи, дальняя родственница М. Ю. Лермонтова, и Голиков Петр Исидорович, внук простого крепостного крестьянина, — записывайте, записывайте, я сразу перевожу на язык протокола... они оба были учителями. Отец учительствовал после окончания семинарии, а мать окончила учительские курсы. Хотя их участие в революционных выступлениях 1905 года и перекрыло им потом путь в тогдашние школы, и мать, окончив фельдшерские курсы, в дальнейшем стала работать по этой линии, а отец стал заниматься акцизным делом. В общем, мои мать и отец поженились вопреки воле отца моей матери и социальным предрассудкам. И — слава богу! — которого, вероятно, нет в небесах, поскольку он превратился в человека, и человек теперь ходит по Земле, как по Аркадии, требуя своего — чистого и возвышенного, духовно радостного бытия!.. В нашем доме — такая чистая жизнь окружала меня с раннего детства, нет, даже с младенчества. Я, собственно, и родился во все это — звучали стихи и музыка, читались всей семьей вслух книги, рассказывались в живых красках истории из самых разных областей человеческой жизни, включая науку и искусство, и как-то само собой, непринужденно, делались все самые необходимые в быту дела. И, конечно же, мы, дети, много играли, и родители не чинили нам препятствий, предохраняя нас только от чрезмерного, жестокого баловства. Культура человечества была для нас, четверых детей, не сухой конструкцией из учебников, а таинственной Книгой, преподаваемой нам, любопытным и жадным до всего живого, прирожденными родителями-педагогами, которых мы уважали не просто по привычке. Мы тоже были уважаемыми людьми. Нас уважали наши родители — любящие нас и друг друга люди с тонкой душой. Я действительно был с младых ногтей Д'Артаньяном, который с великой охотой опекал своих трех маленьких сестер, не гнушаясь и работой по хозяйству, с которыми оставался по вечерам, когда мать уходила на дежурства. Поэтому анархистом, как вы изволили выразиться, я не был. Я был естественно ответственным человеком. Это чувство естественной ответственности и естественный, ничем тяжелым не придавленный ум помогли мне потом всю жизнь быстро ориентироваться в событиях, поэтому уже в тринадцать лет я писал на фронт отцу немислимые с точки зрения других взрослых и других детей, выросших в ежовых рукавицах, письма, спрашивая про тогдашнюю войну так:

Милый, дорогой папочка!

Пиши мне, пожалуйста, ответы на вопросы:

1. Что думают солдаты о войне? Правда ли, говорят они так, что будут наступать лишь только в том случае, если сначала выстанут на передний фронт тыловую буржуазию и когда им объяснят, за что они воюют?

2. Не подорвана ли у вас дисциплина?

3. Какое у вас, у солдат, отношение к большевикам и Ленину? Меня ужасно интересуют эти вопросы...

4. Что солдаты, не хотят ли они сепаратного мира?

5. Среди состава ваших офицеров какая партия преобладает? И как вообще они смотрят на текущие события?.. Неужели — «Война до победного конца», как кричат буржуи, или «Мир без аннексий и контрибуций»?..

Пиши мне на все ответы, как взрослому, а не как малютке.

— Ну чего же вы врете, дорогой пятнадцатилетний капитан. Даже в этой истории болезни имеются сведения о том, что когда и отец, а потом и вы ушли на фронт, Наталья Аркадьевна уехала из Арзамаса в Туркестан, как тогда говорили — «с сахарозаводчиком», оставив своих трех еще несовершеннолетних дочерей на попечение дальней родственницы. А на самом деле — фактически без попечения. Вначале, правда, она обосновалась в Семиречье, приехав туда с дочерьми Олей и Катей. Но дети скоро возвращаются в Арзамас, а мать едет в Киргизию — к месту новой работы в Пржевальске. Там она, правда, много и честно работала в должности заведующей Губздравотделом, командированная туда с помощью «своего сахарозаводчика» — председателя Пржевальского угроревкома Александра Федоровича Субботина. Занимая одновременно должность секретаря Пржевальского угроревкома. Там же, в Средней Азии, она подхватила скоротечную чахотку и скончалась на лечении в Крыму, в Алушке, где и была похоронена. А вы согласились с ней встретиться и смогли простить ее, только когда она уже была неизлечимо больна. Вы тогда приехали к ней в санаторий. И что удивительней всего, она, сама фактически и вытолкнувшая вас мальчишкой на фронт, пристроившая вас, четырнадцатилетнего гимназиста, выгнанного из гимназии за отказ сдать отцовский маузер, адъютантом командира местного рабочего батальона и потом упросившая того взять вас с собой в армию, когда его вдруг назначили начальником охраны всех железных дорог новой республики — она и перед лицом смерти истово напутствовала вас и дальше не щадить живота за Родину и Советскую власть. Конечно же, этот порыв сам по себе прекрасен, но в этом было что-то истерическое, вам так не кажется?

Два с половиной года прошло с тех пор, как я порвал всякую связь, мой друг, с тобою. За это время я не получил ни одного письма, ни одной весточки от тебя, мой славный и дорогой папа... Я ушел в армию совсем еще мальчиком, когда у меня, кроме порыва, не было ничего твердого и определенного. И, уходя, я унес с собой частицу твоего миропонимания и старался приложить его к жизни, где мог...

Это письмо к отцу, написанное вами в 1923 году, хранится, конечно, не в этой, а в более углубленной истории вашей болезни. Вы кому тут рассказываете сказки?..

— А жизнь вообще на своей глубине протекает в виде сказки. Только не все могут до нее донырнуть.

— Вы-то, полагаю, донырнули. А нам что прикажете делать — все нырять и нырять, глядя сразу в обе стороны — реалистическую и сказочную — и мешая правду с выдумками, чтобы лечиться потом в психиатрических клиниках?

— Да, именно так — глядеть двуглавым орлом сразу в обе стороны. Это с древней поры хорошо умеют русские, у которых за спинами трех богатырей стоит тщательно ими оберегаемый главный, четвертый богатырь — Иван Дурак. А про родителей своих я вам скажу так: я сожалею, что я осуждал их. С годами я кое-что понял. Человека ломает рок событий, когда он мчит неведомо куда. На этом несоответствии ожидаемого и реального многие сбиваются с пути, особенно люди степенные, в годах. Поэтому им обязательно должны помогать младшие. Ученики должны помогать учителям уяснить то новое, что появилось в жизни за ее очередным поворотом, а дети должны помогать родителям прежде всего в этом, внутреннем смысле. А я об этом не позаботился. Я должен был хотя бы писать с фронта письма, где бы подробно описывалось наше коммунистическое движение в его подлинной, не замутиненной демагогией сути. Ведь мои родители были хорошими родителями и учителями, а следовательно, сумели воспитать сына-ученика, который превзошел их. Только тот учитель велик, у кого ученики прошли чуть дальше, чем он. И в этом смысле моих родителей —

я на это очень надеюсь — можно поздравить с победой. Но в одном я дал промах: я не стал им вовремя, когда они осиротели в своих мыслях и чувствах и растеряли душевную теплоту, из-за чего и ринулись восполнять ее на стороне, отцом и учителем, то есть настоящим Другом... Не забывайте также, что у меня в Арземасе был еще один хороший учитель — учитель словесности Галка... Ну, вы читали, наверное, мою «Школу»... Учитель Галка сильно меня продвинул. Это он — Николай Николаевич Соколов — приоткрыл передо мной деятельность большевистского подполья. Я даже нашел его, уже став взрослым, чтобы показать свою первую повесть «В дни поражения и побед», услышать его мнение и поблагодарить. Но он принял меня сухо. Он не понял моего направления.

— Послушайте — да это вы просто потрясающий демагог! Вы вывернетесь из любой ситуации, выворачивая все наизнанку!

— Не забывайте поглядеть и в другую сторону. Там вы заметите, что мать очень заботилась обо мне, когда просила красного командира взять меня на фронт. Товарищ Еремин был хороший и теплый, осторожный дядька. И мать надеялась, что при нем я, может, и не пропаду. Ведь знала — все равно сбегу на фронт.

— Всех обманув — прибавив себе два года. И став комполка в пятнадцать лет.

— После командирских курсов, и причем не одних. Про это тоже необходимо помнить. Как и про то, что в те годы грамотный человек в отряде был такой редкостью, что на возраст тут не смотрели.

— Ну хорошо, допустим... А чего ж вы тогда сами всю жизнь мыкались по бабам? Чего это у вас нормальная семья сложилась только в тридцать восьмом — с этой — тоже еврейкой — Дорой Матвеевной Чернышевой, дочкой владельца обувной фабрики? Говорю «тоже», потому что Лия Соломянская, как известно, огорчала вас своей природной меркантильностью. Она ушла к настоящему еврею — такому, какой не косит под дурачка и умеет обеспечивать. Поэтому и сына старалась от вас оградить, к тому же и не вашего сына... Ваш-то сын Женя, родившийся от первой вашей гражданской жены Маруси Плаксиной, умер еще совсем младенцем. А все остальные ваши дети были приемными. И маленькие дочери вашей другой, после не оформленного официально развода с Соломянской, гражданской жены, тоже детской писательницы, Анны Трофимовой — Света и Эра. От которых впоследствии, когда два детских писателя, устав от своего божьего житья-бытья, разбежались, вас тоже фактически оторвали. И только теперь вот — обрели дочь Женю, опять приемную. Правда, вы строгонастроено приказали всем говорить ей, будто вы — ее настоящий отец.

— А все на свете дети — она вообще-то, — так уж и быть — выдам вам военную тайну — мои...

— Ого, какое самомнение! Впрочем, иного я и не ожидал.

— Погодите глядеть в одну сторону. Ведь я и в самом деле — поганый отец. Я увидел своего сына Тимура только в двухлетнем возрасте. А до того я просто жил один, уйдя с головой в работу, и не торопился ехать в Архангельск, где жена, родив, осталась жить у родственников. Я почему-то был уверен, что сын был не мой, так как, по моим подсчетам, не мог стать отцом, будучи в поездке по Средней Азии. Но я просчитался — ребенок, видимо, просто родился немного недоношенным. И это все, что я имею сообщить вам о своей личной жизни.

— Глупый позер!.. Но — ваше счастье, что признались. Мы-то все это знаем.

— Все, все! Хватит! Я прерываю эту дуэль! Больному необходим отдых, а моего заместителя еще ждут другие пациенты, а их тут — пруд пруди, — внезапно вскричал еще один еврей — профессор Абрам Моисеевич. Он взволнованно водрузил на носочки, которые чуть не протер до того до дыр, хмуро прислушиваясь к звенящей натя-

нутым, как через обрыв, нервом практически бесконечной беседой. Поднявшись, он с шумом отодвинул стул и слабо махнул в коридор какой-то маячащей в темноте тени. — Сестра, где вы там?.. Микстуру больному!

Поднялся рывком, красиво отведя свой стул назад, и спешно приходящий в свой невозмутимый вид Сергей Иванович. Из колючих и в то же время округлившись и опечалившись его глаз, за которыми внезапно обнажилась зияющая бездной пустота, все еще сыпались черные, как угли, искры. Эта обнаженность повергла его на доли секунды в растерянность и смятение — казалось, что он вот-вот провалится внутрь себя: в тот самый провал, который привык готовить другим. Поэтому собравшись в одну точку, напряжинившись, он почти бегом направился к выходу и уже с порога, круто обернувшись, еще раз колюче посмотрел на Гайдара.

Но вдруг на лбу его обозначилась складка, а взгляд опять опечаленно погрузился в туман и нащупал стену.

Он снова расслабился, как налившись силой, и на губах проступила привычная, как галстук-бабочка, едва приметная полуулыбка.

Он хотел было сопроводить это возвращение в панцирь некой назидательной колкостью в адрес Гайдара. Но почему-то передумал и, горько махнув рукой, в сердцах сказал:

— Ладно, Аркадий Петрович! Буде!.. Блаженные нам тоже нужны.

И только теперь вышел.

За ним, не оглядываясь, грузно протопал профессор.

А медсестра с мензуркой, вбежав в палату, в мгновение ока с профессиональной сердобольностью напоила Гайдара лекарством с хорошо знакомым вкусом, от которого внутри разливалось потом час-другой влажное спокойствие, и в нем можно было немного отдохнуть.

А это означало, что капитан Немо мог вести свой корабль дальше.

Он мастерски справился с задачей — посол недоброй воли сошел с его борта, так и не добившись своего. Он не смог опрокинуть его журавленка на спину и, подчинив своей воле, погрузить в царство мертвящего ледяного панциря. Да к тому же разговор крутился только вокруг него одного, и имена других людей — его родных, друзей и коллег — остались не затронутыми. Упоминались лишь жены, да и то в контексте его перед ними вины.

И еще упоминались дети — а от этого у него холодела кровь.

Как долго сможет продержаться его журавль? Ведь, судя по всему, настоящие холода еще и не начинались.

Значит, необходимо разогреть чужеродную среду, в которой плавало сейчас журавленком его сбивчивое сердце, собственной кровью. Другого выхода нет.

А сердце питать — влагой воспоминаний.

Надо бы перебить лезущую в голову муть, подтачивающую и сосущую его изнутри все нарастающей беспробудной тревогой — чем-то, что придает силы, а не слабость.

Но как нарочно, накатила волна жалости к себе — вспомнились разом все свои непутевые женитьбы и романы. И сморщенное личико умершего младенцем Женьки тоже явственно встало из никогда не умолкающей, нашептывающей упреки памяти. Вместе с заплаканными глазами ясноглазой Маруси — его первой большой любви, которая, потеряв сына, потеряла и доверие к не уберегшему его такому же юному, как она, отцу, носившемуся тогда по фронтам. После чего, помыкавшись года два в Арзамасе у его матери, навсегда уехала от него, находившегося в это время на фронте.

И немудрено — когда родился Женька, молодоженам едва исполнилось шестнадцать.

Но, пожалуй, только одна Маруся и понимала его — только с ней у него было внутреннее сходство.

Дора понимает его по-другому — по доброте душевной изо всех сил стараюсь понять. И — принимая то, чего понять не в силах. Наверное, это сейчас самое лучшее для него.

Но все-таки нет подлинного соприкосновения какими-то внутренними гранями — очень тонкими гранями — какими-то хрустальными.

А с Марусей это было.

И он повсюду искал потом Марусю.

И в Лие Соломянской, пока она была семнадцатилетней комсомолкой и с удовольствием отдавалась активистской работе — это она, озорная темноволосая девчонка, организовала первую в Перми пионерскую газету «Муравей-чудодей» и при этом была слушательницей совпартшколы, — он поначалу тоже увидел Марусю.

А когда начал прозревать вылезшую из нее, как из куколки, взрослую особь иной породы — стало уже поздно.

Он уже привык к Лие и упорно продолжал думать о ней как о юной и трогательной, искренней, идейной и романтической комсомолке. Тем более что она была талантливой личностью — недаром же ей потом в Москве доверили редактировать «Пионерскую правду».

То, что Лия эту комсомолку, вероятно, сбросила с себя, как лягушачью шкурку, еще, вероятно, с выпускным платьем, он в расчет не брал практически до того дня, когда она объявила спустя пять лет после их настоящей на скандалах брачной жизни, что уходит к другому. И увезла к тому, другому, его сына, продуманно умыкнув Тимура в машину прямо на вокзале.

Но он не посмел бороться за то, чтобы оставить у себя Тимура, с которым они обожали друг друга, — он помнил, как был виноват перед Лией и сыном из-за своей гордости.

Оставив жене их комнату в коммуналке, он ушел мыкаться по чужим углам, и только в 1938 году писательская организация предоставила ему другую комнату — в мрачноватом Большом Казенном переулке, к которой он так и не привык.

Откуда вскоре он перебрался, на свое счастье, в Клин, где и встретил Дору с Женькой — дочь и внучку хозяина дома, у которого пришлось снять комнату, лишь бы быть подальше от Кремля и соседей-стукачей.

Он тут же удочерил маленькую Женю и даже попросил сказать ей, что он — ее биологический человек. Ведь совсем недавно, когда они разбежались с неплохой, но тоже далекой от него Аней Трофимовой, он лишился своих приемных дочерей Эры и Светы. И очень хотел, чтобы больше никто никогда не посмел оторвать от него детей под предлогом отсутствия кровного родства. Как он ненавидел этот варварский приоритет родства по крови над родством душ!..

А ведь все могло бы в его личной судьбе сложиться иначе, если бы Рита тогда выбрала его... Быть может — сложилось бы иначе.

Это была его очередная сказка, которая грела ему душу, когда это было крайне необходимо. И он сам понимал это. И тем не менее продолжал верить в некую Риту в Рите. В большую и хорошую, настоящую Риту — в той, маленькой, которая встретилась ему на дорогах судьбы, показавшись большой.

Похоже, что этот мыслитель-хирург, работающий с душой без перчаток — Сергей Иванович, — упустил из его биографии Риту.

Да и вряд ли могло быть иначе — Гайдар даже близких друзей, включая Руви-ма с Костой, не допускал до своей личной жизни, и выудить не то что подробности,

а просто имена всех его женщин — их, вопреки байкам, было не так уж много, а сам он, кроме Маруси, вспоминал только одну — опричникам было неоткуда.

Но загвоздка была в том, что именно историю с Ритой он сам изобразил почти такой, какой она и была, в своей повести-хронике «Рыцари неприступных гор». (Это потом редакторы обратили с его легкого, прекраснородушного соглашательства в мелочах — рыцарей в всадников.)

Позже он уже не интересовался своими ранними — сырыми и сумбурными, на взгляд состоявшегося мастера — повестями и не переиздавал их. Из них он считал относительно сильной лишь «Жизнь ни во что», — но и ее тоже в дальнейшем не включал в свои новые сборники.

Но «Рыцари» были ему дороги как страницы личного дневника, где он так обнажился, что стоял практически без прикрас, как человек среди бьющих его ветров. Так, как и стоят обычно люди, пока не лягут в землю.

Странно, что легшую в основу повести историю любви все языки — и добрые, и злые, — как сговорившись, обошли стороной. Всем запомнилось только то, что он, получив гонорар за «Жизнь ни во что», отдал в редакцию полную авторскую версию повести «Р. В. С.», напечатанной до того в сокращении — как рассказ — в ленинградском журнале «Звезда», и в марте 1926 года вместе с тогдашним своим другом Николаем Трофимовым уволился из пермской «Звезды». После чего они рванули вдвоем в авантюрное путешествие по Средней Азии — не имея ни соответствующих средств, ни сноровки, ни даже лишнего костюма. И как вернулись потом в середине лета исхудалые, вдрызг обтрепанные, так как ночевали на улице, пока зарабатывали на обратную дорогу. Причем вернулись порознь и с той поры раздружились.

А про то, что их было не двое, а трое — про это как-то дружно забыли.

Еще бы — ведь тогда Гайдар и Лия были уже женаты, а третьей путешественницей была женщина. Тем более что, вернувшись из поездки, он узнал, что Лия беременна. Хотя до отъезда он прямо сказал ей, что подаст по возвращении на развод, так как полюбил другую. Их последняя супружеская ночь должна была действительно стать последней — об этом они договаривались... Оба они как будто поняли, что слишком разные, и, как тогда казалось, окончательно потеряли надежду сойтись внутренне.

Тогда он был насчет Лии трезв, как никогда. Он не цеплялся за Марусю в ней, так как переселил воображением художника свою легендарную Марицу — Марусю — в другую женщину.

Той же, другой, он хотел подарить всего себя на просторах далекой земли.

Но не как сказитель Шахерезаде — очередную сказку древности.

В Самарканде, где лежал в гробнице воитель древности Тимур, заря новой советской жизни только занималась.

Там, вероятно, все еще было как встарь — новое мешалось со старым, прорастая из него, из старья, к чему-то такому, чего еще не учили и не охватили планами бюрократы.

Там можно было догнать прежнюю весну, оставив позади вместе с российскими вокзалами лютующие перед оттепелью последние морозы. Догнать — или, что точнее, сделать во времени петлю, обогнать, соскочив на некий короткий период с мчащегося в будущее локомотива истории.

Там, как ему чудилось, небо было высоким, а земля бескрайней.

И повсюду ходило величественными семимильными шагами словно никогда не заходящее солнце.

...Прикрыв глаза, он отчетливо увидел качающийся над ним терпким дубовым листком текст своих «Рыцарей» — самое начало:

Вот уже восемь лет, как я рыскаю по территории бывшей Российской империи. У меня нет цели тщательно исследовать каждый закоулок и всесторонне изучить всю страну. У меня просто — привычка. Нигде я не сплю так крепко, как на жесткой полке качающегося вагона, и никогда я не бываю так спокоен, как у распахнутого окна вагонной площадки, окна, в которое врывается свежий ночной ветер, бешеный стук колес, да чугунный рев дышащего огнем и искрами паровоза. И когда случается мне попасть в домашнюю спокойную обстановку, я, вернувшийся из очередного путешествия, по обыкновению, измотанный, изорванный и уставший, наслаждаюсь мягким покоем комнатной тишины, валяюсь, не снимая сапог, по диванам, по кроватям и, окутавшись похожим на ладан синим дымом трубочного табака, клянусь себе мысленно, что эта поездка была последнею, что пора остановиться, привести все пережитое в систему и на серо-зеленом ландшафте спокойно-ленивой реки Камы дать отдохнуть глазам от яркого блеска лучей солнечной долины Мцхета или от желтых песков пустыни Кара-Кум, от роскошной зелени пальмовых парков Черноморского побережья, от смены лиц и, главное, от смены впечатлений.

Но проходит неделя-другая, и окрашенные облака потухающего горизонта, как караван верблюдов, отправляющихся через пески в далекую Хиву, начинают снова звенеть монотонными медными бубенцами. Паровозный гудок, доносящийся из-за далеких васильковых полей, чаще и чаще напоминает мне о том, что семафоры открыты. А старуха-жизнь, поднимая в морщинистых крепких руках зеленый флаг — зеленую ширь бескрайних полей, подает сигнал о том, что на предоставленном мне участке путь свободен.

И тогда оканчивается сонный покой размеренной по часам жизни и спокойное тиканье поставленного на восемь утра будильника.

Пусть только не подумает кто-либо, что мне скучно и некуда девать себя и что я, подобно маятнику, шатаюсь взад и вперед только для того, чтобы в монотонном укачивании одурманить не знающую, что ей надо, голову.

Все это — глупости. Я знаю, что мне надо. Мне 23 года, и объем моей груди равен девяносто шести сантиметрам, и я легко выжимаю левой рукой двухпудовую гиру.

Мне хочется до того времени, когда у меня в первый раз появится насморк или какая-нибудь другая болезнь, обрекающая человека на необходимость лечь ровно в девять, предварительно приняв порошок аспирина, — пока не наступит этот период, как можно больше перевертеться, перекрутиться в водовороте с тем, чтобы на зеленый бархатный берег выбросило меня порядком уже измученным, усталым, но гордым от сознания своей силы и от сознания того, что я успел разглядеть и узнать больше, чем за это же время увидели и узнали другие.

А потому я и тороплюсь. И потому, когда мне было 15 лет, я командовал уже 4-й ротой бригады курсантов, охваченной кольцом змеиной петлюровщины. В 16 лет — батальоном. В 17 лет — пятьдесят восьмым особым полком, а в 20 лет — в первый раз попал в психиатрическую лечебницу.

Фраза о больнице заставила его открыть глаза, и он словно впервые увидел эти хорошо знакомые стены, недавно покрытые свежей масляной зеленой краской — как что-то близкое и в то же время далекое. Это действительно была его каюта, его самаркандский сад. Почему бы «Наутилусу», который бороздил не только океанические глубины, но и раздвигал своим ходом полярные льды, не проникнуть теперь в глубь пустыни? Это — махина широкого профиля!

Поднявшись, он зачарованно сделал шаг, потом другой... И словно ощутил в ладонях уже не трясущихся рук, поднеся их к глазам, нежные лепестки урюка.

Как все-таки хорошо, что он не поехал тогда в Париж, где собирался не только отдохнуть от редакционных забот и от раздумий над судьбой Лбова и лбовщины, но и развеять дурман своего неудавшегося брака. Он любил дальние страны также и за их способность гасить миражи. С этой задачей, пожалуй, справился бы и Париж. Но Гайдар не обрел бы тогда в своем сердце Азию. То есть не прибавил бы к своей земле того нового, что узнал и увидел за глупыми пределами из мелочей, растущих сорняками из чьих-то личных, включая его собственные, амбиций. Вот это была бы — потеря потерь!..

Я решил уехать за границу. Две недели для практики я изъяснялся со всеми, вплоть до редакционной курьерши, на некоем языке, имеющем, вероятно, весьма смутное сходство с языком обитателей Франции. И на третью неделю я получил в визе отказ.

И вместе с путеводителем по Парижу я вышвырнул из головы досаду за неожиданную задержку.

— Рита! — сказал я девушке, которую любил. — Мы поедем с тобой в Среднюю Азию. Там есть города Ташкент, Самарканд, а также розовый урюк, серые ишаки и всякая такая прочая экзотика. Мы поедем туда послезавтра ночью со скорым, и мы возьмем с собой Кольку.

— Понятно, — сказала она, подумав немного, — понятно, что послезавтра, что в Азию, но непонятно, зачем брать с собой Кольку.

— Рита, — ответил я резонно. — Во-первых, Колька любит тебя, во-вторых, он хороший парень, а в-третьих, когда через три недели у нас не будет ни копейки денег, то ты не станешь скучать, пока один из нас будет гоняться за едой либо за деньгами на еду.

Рита засмеялась в ответ, и, пока она смеялась, я подумал, что ее зубы вполне пригодны для того, чтобы разгрызть сухой початок кукурузы, если бы в том случилась нужда.

Она помолчала, потом положила мне руку на плечо и сказала:

— Хорошо. Но пусть только он на все время пути выкинет из головы фантазии о смысле жизни и прочих туманных вещах. Иначе мне все-таки будет скучно.

— Рита, — ответил я твердо, — на все время пути он выкинет из головы вышеозначенные мысли, а также не будет декламировать тебе стихи Есенина и прочих современных поэтов. Он будет собирать дрова для костра и варить кашу. А я возьму на себя все остальное.

— А я что?

— А ты ничего. Ты будешь зачислена «в резерв Красной Армии и Флота» до тех пор, пока обстоятельства не потребуют твоей посильной помощи.

Рита положила мне вторую руку на второе плечо и пристально посмотрела мне в глаза.

Я не знаю, что это у нее за привычка заглядывать в чужие окна!

— В Узбекистане женщины ходят с закрытыми лицами. Там цветут уже сады. В дымных чайханах перевитые тюрбанами узбеки курят чилим и поют восточные песни. Кроме того, там есть могила Тамерлана. Все это, должно быть, очень поэтично, — восторженно говорил мне Николай, закрывая страницы энциклопедического словаря.

Но словарь был ветхий, древний, а я отвык верить всему, что написано с твердыми знаками и через «ять», хотя бы это был учебник арифметики, ибо дважды и трижды за последние годы сломался мир. И я ответил ему:

— Могила Тамерлана, вероятно, так и осталась могилой, но в Самарканде уже есть женотдел, который срывает чадру, комсомол, который не признает великого праздника ураза-байрам, а потом, вероятно, нет ни одного места на территории СССР, где бы в ущерб национальным песням не распевались «Кирпичики».

И убежал Моисей, после того как во время его попытки разнять дерущихся обижавший ближнего оттолкнул его со словами: «Не хочешь ли ты убить меня, как вчера убил египтянина?!»

Он убежал в пустыню Мадиамскую. И встретив там ефиоплянку, женился на ней.

Этот достопочтенный человек, всегда шедший против течения, не смирялся ни с чем мелким, пошлым, общепринятым и якобы — только потому — общеобязательным. Об этом Гайдар помнил еще с гимназических уроков Закона Божьего — он перекладывал тогда в своем воображении библейские истории, которые рассказывал монотонным голосом учитель, на понятный человеческий язык.

Сейчас Гайдар с удовольствием бы пожал ему руку через вечность!

И тогда — он тоже хотел протянуть Рите руку — нет, обе руки! — подав вторую Николаю — на весь белый свет, который можно обозреть, как площадку для грядущего взлета в еще более глубокий и широкий мир, который еще предстоит построить, — уехав далеко-далеко, на самый край мира.

Этот новый мир дул им в лицо теплым попутным ветром, даже когда они, уже хлебнув приключений в Самарканде, покачивались, видя каждый — свои таинственные сны — в вагоне мчащегося сквозь ночь дальше — теперь в Бухару — поезда. Поэтому вор с легкостью оставил их без чемодана, а они оставили в душах других пассажиров и проводника впечатление странных и несерьезных людей, про которых не поймешь — жалеть их или ругать. Уж слишком легко они отнеслись к потере. Гайдар и Рита, разбуженные обнаружившим пропажу Николаем, просто переглянулись, и Рита, обозвав их для порядка идиотами, просто повернулась на другой бок — смотреть сон дальше. Встретившись взглядами, они тут же отпустили все эти волнения. И только бдительный Николай, вероятно, по причине того, что не успел бросить между ними клинок взгляда своего, некоторое время громко возмущался и чем-то грозил путевому начальству, которое устроило потом форменный допрос всем потерпевшим и свидетелям. Но чемодан, это было понятно с самого начала, им в результате этих хлопот никто не вернул.

Когда Гайдар впервые заметил этот отравленный клинок?

Увы, не сразу... Он еще очень долго, да практически до конца, полагал, что Николай просто слегка ревнует, но, в общем-то, это настоящий товарищ — ведь они когда-то служили в одном полку и ходили вместе в дозор. Хотя любой здравомыслящий человек попросту расхохотался бы, узнав, что он пригласил в поездку с любимой женщиной, которой собирался сделать предложение, ее другого дыхателя. Ведь то, что Николай, несмотря на то, что у Риты и Гайдара уже были отношения, был по-прежнему влюблен, хотя Рита и не давала ему повода надеяться на что-то, кроме дружбы, знал даже Гайдар.

Так на что же надеялся Гайдар?

На дальние страны, смывающие с глаз настоящих людей их иллюзии и вливающие в их грудь ветер странствий.

Странниками надо входить в эту великую, смелую жизнь, странниками-великанами. Безжалостно выметая сор из собственных душ.

Так он полагал.

Поэтому он верил в Николая и как бы протягивал ему руку.

Его боевой товарищ справится — думал втайне Гайдар.

Но он не любил обнажать своих потаенных дум и не любил людей, воровато заглядывающих ему в глаза, как в чужие окна.

Повсюду — в Самарканде, Бухаре, в недавно переименованном в честь погибшего чекиста в Полторацк — бывшем «саду любви» Асхабаде, в пригорюнившимся на бе-

регу Каспия мертвенном Краснодарске, а потом и на Кавказе, куда они рванули после того, как с трудом заработали денег на дорогу, работая грузчиками в красноводском порту — продолжался этот некрасиво затеянный Николаем у могилы Тамерлана спор о красивом. Он был особенно странным среди их неприхотливого, полного опасностей быта: ночевки в развалинах заброшенного сада, на вокзалах, в старых вагонах, а то и просто под открытым небом — среди людей, которые только-только открывали в себе людское, например, среди путевых рабочих, которым после изнурительного трудового дня приходится коротать ночь в отцепленном вагоне.

Мы с Николаем сели на большой белый камень и закурили, а Рита легла на траву и, подставив солнцу лицо, зажмурилась.

— Мне нравится этот город, — сказал Николай. — Я много лет мечтал увидеть такой город, но до сих пор видел только на картинках и в кино. Здесь ничего еще не изломано; все продолжает спать и видеть красивые сны.

— Неправда, — ответил я, бросая окурки. — Ты фантазируешь. Из европейской части города уже добирается до тубетечных лавок полуразвалившегося базара узкоколейка. Возле коробочных лавок, в которых курят чилим сонные торговцы, я видел уже вывески магазинов госторга, а поперек улицы возле союза Кошчи протянут красный плакат.

Николай с досадой отшвырнул окурки и ответил:

— Все это я знаю, и все это я вижу сам. Но к глиняным стенам плохо липнет красный плакат, и кажется он несвоевременным, заброшенным сюда еще из далекого будущего, и уж во всяком случае, не отражающим сегодняшнего дня. Вчера я был на могиле великого Тамерлана. Там у каменного входа седебородые старики с утра до ночи играют в древние шахматы, а над тяжелой могильной плитой склонились синее знамя и конский хвост. Это красиво, по крайней мере потому, что здесь нет фальши, какая была бы, если бы туда поставили, взамен синего, красный флаг.

— Ты глуп, — ответил я ему спокойно. — У хромого Тамерлана есть только прошлое, и следы от его железной пяты день за днем стираются жизнью с лица земли. Его синее знамя давно выцвело, а конский хвост съеден молью, и у старого шейха-привратника есть, вероятно, сын-комсомолец, который, может быть, тайком еще, но ест уже лепешки до захода солнца в великий пост Рамазана и лучше знает биографию Буденного, бравшего в девятнадцатом Воронеже, чем историю Тамерлана, пятьсот лет тому назад громившего Азию.

— Нет, нет, неправда! — горячо возразил Николай. — Ты как думаешь, Рита?

Она повернула к нему голову и ответила коротко:

— В этом я, пожалуй, с тобой согласна. Я тоже люблю красивое...

Больше всего Гайдар расстраивался, хоть и не подавал виду, от того, как слепа на подлинную красоту Рита.

Она очень скоро угодила в липкую паутину из красотостей, которую ловко сплел Николай, — сплел совсем как тот злой влюбленный шиповник, выросший меж могил двух убитых им любящих людей, чтобы они не смогли склонить друг к другу даже головки выросших на могильной земле белых роз. Эту сказку, воинственно поглядев на Гайдара, его друг рассказал еще в начале путешествия.

Собственно говоря, он не уважал не только Гайдара, но и Риту. Называя ее про себя «девушкой из кабака», он опасался обнаружить в ней потенциальную проститутку. Вероятно, такова участь всех горе-спасителей. Ведь это Николай устроил Риту в редакцию. До того эта талантливая, не получившая образования девушка была ресторанной певицей.

Столь же противоречивым было и отношение Николая к революции. Считая, что с введением нэпа все достижения советской власти вылетели коту под хвост, то есть оказались в руках спекулянтов и бюрократов, он сдувал пылинки с пещерной старины, восхищаясь тем же «железным» Тимуром и — одновременно... цветами.

Рита и Николай сидели у костра. Они не заметили, что я подходил к ним. Николай говорил:

— Все равно... Рано или поздно... Ты, Рита, чуткая, восприимчивая, а он сух и черств.

— Не всегда, — помолчав, ответила Рита, — иногда он бывает другим. Ты знаешь, Николай, что мне нравится в нем? Он сильнее многих и сильнее тебя. Не знаю, как тебе объяснить, но мне кажется, что без него нам сейчас было бы намного труднее.

— При чем тут сила? Просто он больше обтрепан. Что это ему, в первый раз, что ли? Привычка, и все тут!

Я подошел. Они оборвали разговор. Рита принесла мне умыться.

Холодная вода подействовала успокаивающе на голову, и я спросил:

— Обедали?

— Нет еще. Мы ждали тебя.

— Вот еще, к чему было ожидать? Вы голодны, должно быть, как собаки!

Перед тем как лечь спать, Рита неожиданно попросила:

— Гайдар, ты знаешь сказки. Расскажи мне!

— Нет, Рита, я не знаю сказок. Я знал, когда был еще совсем маленьким, но с тех пор я позабыл.

— А почему же он знает, почему он не позабыл? Он же старше тебя! Чего ты улыбаешься? Скажи, пожалуйста, что это у тебя за манера всегда как-то снисходительно, точно о маленьком, говорить о Николае? Он тоже это замечает. Он только не знает, как сделать, чтобы этого не было.

— Подрасти немного. Больше тут ничего не поделаешь, Рита. Откуда у тебя эти цветы?

— Это он достал. Знаешь, он сегодня зашиб себе руку и, несмотря на это, залез вон на ту вершину. Там бьет ключ, и около него растет немного травы. Туда очень трудно забраться. Почему ты никогда не достанешь мне цветов?

Я ответил ей:

— У меня мало времени для цветов.

Никогда не забыть ему истории со змеей. Он тоже не подал тогда виду, не выдал вдруг нахлынувших воспоминаний.

Это было в Асхабаде.

Мы забрались на холмы. Внизу была долина, а недалеко начиналась цепь гор. На горах были видны белые пятна нерастаявшего снега. Там за вершинами, в нескольких километрах отсюда, чужая сторона, чужой край — Персия!

Спустились в сухую песчаную лощину. Было интересно идти по извивающемуся и завивающемуся руслу высохшего ручья, ибо из-за отвесных кручин обрывов ничего, кроме палящего солнца, — будь оно проклято! — не было видно и нельзя было определить, куда выйдешь.

— Смотри! — крикнула Рита, отскакивая. — Смотри, змея! Мы остановились. Поперек дороги, извиваясь черной лентой, ползла полуторааршинная гадюка. Николай поднял большой камень и швырнул в нее, но промахнулся, и змея, засверкав стальной чешуей, шмыгнула вперед. Но Николай и Рита пришли в неописуемый азарт: на берегу, поднимая камни, они неслись за ускользящей змеей до тех пор, пока в голову ей не попал тяжелый булыжник; она остановилась, закорчилась и за-

шипела. Долго еще они швыряли в нее камни, и, только когда она совсем перестала шевелиться, подошли поближе.

— Я возьму ее в руки, — сказала Рита.

— Гадость всякую! — возмутился Николай.

— Ничего не гадость. Смотри, мы, кажется, всю ее разбили огромными кирпичинами, а на ней ни одной кровинки, ни царапины!

Она вся — как из стали. — Рита потрогала змею тросточкой, потом хотела прикоснуться пальцем, но не решилась.

— Смотри-ка, а ведь она еще жива!

— Не может быть! — возразил Николай. — Я напоследок бросил ей на башку десятифунтовую глыбу.

Но змея была жива. Мы сели на уступ и закурили. Змея пошевелилась, потом медленно, точно просыпаясь от глубокого сна, изогнулась и тихонько, как больной, шатающийся от слабости, поползла дальше.

Николай и Рита посмотрели друг на друга, но ни одного камня, ни одного куска глины вдогонку ей не бросили. Тогда я встал и одним рывком острого охотничьего ножа отсек гадюке голову.

Крик негодования и бешенства сорвался с уст Риты.

— Как ты смел! — крикнула она мне. — Кто тебе позволил?...

— Мы здесь будем отдыхать на лужайке, и я не хочу, чтобы рядом с нами ползала змея, обозленная тем, что ее не добились до смерти. И потом... чего это вы с Николаем не кипятились, когда сами три минуты назад добивали ее камнями?

— Да, но она выжила все-таки! Она страшно цеплялась за жизнь, и можно было бы оставить, — чуть-чуть смущенно заступился за Риту Николай. — Ты знаешь, существовал обычай, что преступнику, сорвавшемуся с петли, даровали жизнь.

— Глупый обычай, — ответил я. — Или не надо начинать, или, если уж есть за что, то пусть он сорвется десять раз, а на одиннадцатый все-таки должен быть повешен. При чем здесь случай и при чем здесь романтика?

Пожалуй, он перехлестнул тогда с эмоциями, когда сказал про сорвавшегося с петли преступника. И поэтому долго шел потом молча, в отдалении от о чем-то шепчущихся, колющих ему спину взглядами друзей. Он шел и мучительно трудно давил на себя самого, чтобы заворочавшаяся внутри глыба воспоминаний о войне не поднялась и не опрокинула его в этой сухой безжалостной лощине. Ведь она состояла не только из подвигов и суровых будней, когда плечо каждого товарища — это больше чем плечо. На войне приходилось казнить преступников, а оступиться на ней людям, которые привыкли быть забитыми, а потом вкусили вседозволенности, когда стихия вынесла их в центр и поставила судить мир, было проще простого. Ему как командиру приходилось отдавать приказы о расстрелах своих. Он делал это — сжав зубы. Малой кровью на войне предотвращают большую. Это понимают все мужчины.

Но однажды ему пришлось расстрелять собственного товарища, убившего ради забавы ни в чем не повинную проходящую деревенскую женщину.

Все было почти так, как он описал в «Жизни ни во что»:

— У меня, в Первом революционном отряде пермских партизан, бандитов не должно быть и не будет никогда, — холодно и громко проговорил Лбов. — Так я говорю?

— Так... правильно, — слышались в ответ хмурые голоса.

— Лбов... что ты хочешь? — удивленно спросил его Фома, почувствовавший недобрые нотки в его голосе.

— Оставь, не твое дело, — резко ответил тот.

Затем, перед глазами всего отряда и окружающих мужиков, схватил за руку и дернул вперед стрелявшего так, что тот очутился рядом с Чебутыкиным.

— У меня, в пермском революционно-партизанском отряде, который борется против царизма, бандитов не было и не будет, — повторил он опять.

И в следующую секунду в глазах Чебутыкина сверкнул маузер, в уши ударил грохот, и Чебутыкин покачнулся, считая себя уже погибшим, но потом сообразил, что стреляли не в него, потому что бывший лбовец зашатался и с проклятием грохнулся на землю, срезанный острой пулей сурово сверкающего глубиной разгневанно-жестоких глаз атамана Лбова, неторопливо вкладывающего дымящийся маузер в кожаную кобуру.

Да, Гайдар отдавал приказы о расстрелах и сам орудовал маузером, чтобы люди, воскреснув, не погибли, сраженные своим внутренним зверем. Он отвоевывал вместе с тысячами почувствовавшими себя живыми бывшими рабами бывшей Российской империи — а рабами, обслуживающими прихоти других или купающимися в этих прихотях, здесь были почти все — пядь за пядью чистую землю.

На этой чистой земле, как они надеялись, свинцовым мерзостям жизни просто не останется места.

Но все они просчитались — зверь оказался сильнее и теперь, уже в мирной жизни, насмешливо разил их изнутри все более тонко и осмотрительно.

Поэтому у Гайдара иногда опускались руки.

Он понимал, что на этих руках должны быть закатаны рукава, потому что зверь истребляется внутренней работой, внешним отражением чего являлась их кипучая деятельность на стройках коммунизма. Эта великая стройка продвинулась даже в глубь никогда не меняющейся Азии — он убедился в этом воочию.

Но все-таки пока этот зверь побеждал, и дальние страны — подлинные Дальние Страны — до их советской страны еще не доехали.

Однако, несмотря на весь трагизм этого положения, Гайдар, как и все остальные желающие благих перемен люди новой страны, жил в предчувствии будущего, которое — он не сомневался в этом! — непременно придет и будет светлым.

Из этой светлой дали он и черпал силы.

И только снились по ночам глаза товарищей, убивших других, быть может, еще незнакомых, товарищей, которых убил потом он.

«Снились люди, убитые мной в детстве», — именно так, как записал он в своем дневнике.

Потому что был на той войне — пятнадцатилетним капитаном.

Человеком с обыкновенной биографией в необыкновенное время.

Он сам разрубил и распял своего внутреннего змея.

Легко, без особых затей.

Поскольку его, змея, в нем — отродясь — никогда и не было...

Он как-то умудрился обойти его при помощи нехитрого мальчишеского приспособления — змея бумажного. Таких похожих на воздушные белые кораблики, ласково бороздящих синеву неба бумажных змеев они запускали ввысь с мальчишками еще в Арзамасе.

Поэтому дико ему было видеть, как преследуют, чтобы распять чужака, его друзья встретившегося им, на свою беду, змея внешнего.

Долго шел тогда Гайдар в отдалении и поглядывал на горы Копендага, стараясь представить себе Хорсан, где жил светлый Ормузд.

Легенду о двух братьях — лучезарном Ормузде и противостоящем ему черном душой Аримане — рассказал ему случайный попутчик по ночевкам на вокзалах — смешной и ловкий человек-артист Некопаров, сумевший за свою бродячую жизнь поработать даже в труппе турецкого городка Сарокамышев. А про здешние места, откуда рукой по-

дать до мертвого Сарокамышского озера, про которое Некопаров говорил, что якобы там — ворота в Аид, Некопаров отзывался как о погибшей земле.

И был, по понятиям Гайдара, кругом не прав.

Потому что именно в гиблые места, где жизнь не ставится ни во что, и должны идти с пароходами и поездами, спустившись, как с небес, на белых воздушных змиях, все настоящие капитаны.

Постепенно углубляясь от оазисов в сухое сердце пустыни и все больше отдаляясь друг от друга, теряя имущество, физические силы и себя прежних — еще недавно счастливых, теплых, живых, — они добрались до последнего пункта своего среднеазиатского путешествия — города-порта Красноводска.

Это уже был берег Каспия.

Отсюда уходили — уже пароходами.

Но как мертвенны здесь были воды.

И как жгучи — словно пылали на сковороде — пески.

В них, как пятна экземы, проступал белый налет соли.

Здесь были только горы с одной стороны и пески — с другой.

И зияли, как дыры потухших звезд, одиноко разбросанные там и сям обтрепанные кибитки.

Запомнилось, как стоял, равнодушно глядя в тысячелетнее прошлое, страшно измученный верблюд. К нему приткнулась облезшая собака. Было такое чувство, что они стоят так века.

Тут они с Николаем две недели трудились не покладая рук, зарабатывая на то, чтобы просто выбраться отсюда.

Таскали в унылом, монотонно позвякивающим, как судья молоточком, всеми своими ржавыми мощами порту мешки с солью и сушеной рыбой, бочонки с прогорклым маслом, тюки с трухлявым сеном.

Здесь, в маленькой комнатухе на окраине города у подножия горы, где Рита кормила их только рыбной похлебкой и кашей, Николай обманул его, взяв в придачу к захваченной душе Риты еще и ее тело. Правда, он понял это не сразу.

Но Гайдар все равно повез их обоих на Кавказ — сначала в Баку, а потом в Тифлис. Трудно сказать, зачем это ему было нужно.

И еще труднее было понять это им, теперь уже прямо, без обиняков упрекающих его за любую трудность на их новом пути — теперь уже пути в горы.

Они прошли Тифлис, Мцхету, Анаури и двинулись к снеговым вершинам Гудаурского перевала.

Ночевали они у костра под прекрасным южным небом — пили ключевую воду и ели баранью похлебку.

Странно, но Гайдар был и тут по-своему счастлив и все прощал этим двум горе-мыкам, которые походили в его глазах на двух связанных спинами пленников, глядевших каждый в свою сторону и — вероятно — ничего не видящих.

Грустный комизм положения был в том, что, вероятно, они понемногу начинали принимать за пленившего их врага-узурпатора его, Гайдара. И все больше — тихо ненавидеть его.

А потом ночью появились всадники из банды местного контрреволюционера Чалакаева.

Рита и Николай тогда безмятежно спали у попыхивающего угольками костра.

Тонко исходя ароматом травяного чая, висел черной луной практически невидимый в темноте котелок.

И появившиеся всадники тоже были практически не видимы.

Но Гайдар все равно заметил их, так как ему почему-то не спалось и он, отойдя от костра, спустился к Арагве.

Там, у Арагвы, один из бандитов напал на него, ранив кинжалом в ногу. Меж ними завязалась смертельная драка.

Гайдар сумел одолеть противника и несколько раз выстрелил в воздух, чтобы отвлечь внимание на себя.

Он добился своего — когда примчавшиеся всадники после первой попытки разглядеть в темноте стрелявшего вновь рванулись к костру, там уже никого не было.

И тогда, удовлетворенный, уже и не рассчитывающий на собственное спасение, он прыгнул в воды бешено несущейся Арагвы.

Как ни странно, он не погиб.

Пули его не достали, а река зачем-то вынесла на берег, куда бандитам было не пробраться, и он добрал, истекая кровью, к вечеру следующего дня до поселка.

В висках тогда уже постукивали молоточки, и сознание предательски заволакивала тьма.

Как он ждал, что сейчас распахнутся двери в доме, куда вызвался проводить его мальчишка-грузин, поскольку там остановились его спутники, и он окажется в объятиях все понявших и все простивших ему друзей.

Но вместо этого хозяин дома подал ему письмо.

Я распечатал. Письмо — полное ненависти и презрения.

«Ты эгоист. Ты черств и сух, как никто, и думаешь только о себе. Вместо того, чтобы остаться с нами, ты при первых же выстрелах предпочел бросить нас, чтобы самому, не связанному ничем, прятаться и скрываться. В сегодняшнюю ночь я разгадала тебя. Николай ранен в руку, но все-таки не оставил меня. Твоя дорога отняла у меня много здоровья и нервов. Странствуй лучше один.

Счастливого пути.

Рита».

Внизу приписка Николая.

«Я никак не ожидал от тебя этого. Это нечестно!»

— Нечестно, — пересохшими губами прошептал я. — А это честно — умышленно подтасовывать все? Даже если бы Рита, которая знает меня меньше, могла допустить, разве ты... не должен был доказать, что это ложь, что этого не может быть? Это честно?

Молоточки застучали с удвоенной силой.

Гайдар заправил постель, где пролежал в забытии двое или трое суток, борясь с кем-то невидимым, кто тянул его, как водяной, в непролазную тьму и с кем они, вероятно, успели как следует полазить по дну этой тьмы.

Потом закурил трубку.

Одернул гимнастерку.

Пригладил еще непослушной ладонью волосы.

Поправил орден у гулко стучащего сердца.

И шагнул в коридор.

Всюду, несмотря на ранний час, двигались, негромко переговариваясь, люди. Это были мужчины, женщины и дети — из-за ремонта всех пациентов без разбора пола и возраста собрали только в этом уже отремонтированном отделении. Женщин раз-

местили в палатах по одну сторону узкого коридора, мужчин — по другую. Ну, а детей — их было не более пяти-шести — разместили среди взрослых своего пола. И взрослые, несмотря на все свои проблемы, трогательно опекали их. Единственное, от чего не могли защитить здесь детей — так это от дыма. Курили здесь все и всегда. Повсюду — в палатах и коридоре — шествовали или сидели, порой раскачиваясь на стульях, люди с дымящимися папиросами, и от этого кругом стоял туман.

— Нет ли у вас сигаретки? — сразу спросили у Гайдара. Несколько человек, просительно заглядывая в лицо, окружили его, протягивая руки за куревом.

Гайдар жестом показал на пустые карманы и тут же задал встречный вопрос:

— Послушайте, а нет ли в отделении девочки... Точнее, она уже выросла... Нет ли тут молодой женщины по имени Екатерина Никитина?

— Не знаем, мил человек... А ты спроси у сестры. Сестра, сестра, к вам новенький с вопросом!

Вышагнула в завесу из дыма из ординаторской медсестра с суровым лицом, строго провела, как фонариком, рассеивающим дурь взглядом по их кучке и, увидев Гайдара, внезапно заулыбалась.

— Какой же это новенький... Это же наш Гайдар, — певуче произнесла она и, подойдя вплотную, подала ему руку.

— Здравствуйте, Регина, — сказал Гайдар, пряча глаза, в которые та с полуулыбкой настойчиво вглядывалась, от чего водоворот внутри Гайдара становился еще черней и опасней. — Как ваши дела?.. Скажите, пожалуйста, в отделение не поступала женщина, которую зовут Екатерина Никитина?

— Увы, дорогой писатель, вашей любимой героини тут нет.

— Спасибо, — сухо сказал Гайдар и последовал дальше. Он отметил про себя, что все относительно молодые медсестры становятся с ним одинаковыми, словно их провели через копирку.

Это уже стало среди лечивших его медиков притчей во языцех: во всех психиатрических больницах Гайдар спрашивал про Екатерину Никитину. Абрам Моисеевич даже говорил в минуты, когда на него находила едкая шутливость, что Гайдар нарочно сбегает в больницу, чтобы найти в больнице «свою Никитину». И, пряча глаза в дыму от его трубки, в котором вечно кутался, как в уютном теплом шарфу, иронически прибавлял: «Кому — что, а Гайдару — хоть раз в год, да полежать в любимой клинике». Вообще же Абрам Моисеевич был умен, проницателен и загадочен. Невозможно было понять, что у него на уме, и эта загадочность, к которой Гайдар тянулся, отчасти и продлила их союз на долгие годы. Абрам Моисеевич иронизировал: «Вторым самым любимым местом после верхней полки поезда у писателя Гайдара была койка в психиатрической лечебнице».

Да-да-да, шутить на эту тему, не переходя при этом грани — шутить коротко и вскользь, — было можно. Но не дай бог кто-то посмел бы смаковать эту тему у него за спиной или распространять байки. Этот человек бы тут же узнал, что такое Гайдар в гневе!.. Наверное, по причине деликатности темы — в «байки про Гайдара», к которым он прислушивался с добродушной хитринкой, обычно не выдавая своего отношения, — она не попала. Да и знали про Никитину только медики и отдельные обитатели психиатрических клиник. Для всех остальных эту область своей жизни он строго засекретил.

Екатерину Никитину он и сам никогда не встречал. И даже не знал, как она выглядит. Не знал адреса и телефона. Вообще ничего не знал, кроме истории, которую

рассказали ему некогда в Екатеринбурге случайные попутчики, — они были родителями ученика одной из школ в Уктусском районе города.

Эта история так задела его за живое и так взбесила, что он тут же отправился в школу, желая найти несчастного ребенка и защитить его от обидчиков, но — уже никого не нашел, так как семья Никитиных выехала в неизвестном направлении. Ему ничего не оставалось, как, отшумев в учительской, откуда все сразу культурно разбежались, укрывшись за дверями директорского кабинета, пионерской и библиотеки, шарахнуть по школе фельетоном.

Фельетон назывался «Ярлык» и сразу же пошел в местную газету. Он помнил в нем каждую запятую. Этот реуший, как пионерское знамя, текст по сей день нередко вспыхивал у него перед глазами:

«Ярлык». 17.04.27 г. , N 88

Объявить здорового человека сумасшедшим в сущности не так трудно. Стоит только обратить внимание окружающих на ту или иную привычку человека, на его походку, на странную манеру как-то особенно громко сморкаться или на подозрительный способ зажигания спичек о подошву. Ну мало ли еще на что? И тотчас же найдется масса людей, которые не только согласятся с самым абсурдным заявлением, но больше того, — тотчас же будут утверждать, что они сами уже давно замечали, подозревали и т. д.

И стоит тогда подозреваемому человеку потянуться рукой за зажигалкой, как найдутся очевидцы, которые будут утверждать на всех перекрестках: что зажигалка вовсе не зажигалка, а финский нож, и что глаза у человека горели в тот момент безумным и явно злодейским блеском.

Пропадает тогда человек ни за что, ибо чем больше он будет злиться, спорить, доказывать, тем меньше ему будет веры.

Однажды некая уктусская комсомолка зашла в местный магазин и, энергично проталкиваясь к кассе, заметила, что впереди ее очутилась маленькая худенькая девчушка лет 11—12. комсомолка попробовала было вытеснить девчонку, но та, будучи уже дважды отталкиваема взрослыми от кассы, продолжала настойчиво пробираться к кассе, с упорством зажимая в руке пятак. Тогда комсомолка оттолкнула маленькую покупательницу и, назвав ее сумасшедшею, стала на ее место.

Вероятно, дело этим и ограничилось бы, если бы эта комсомолка, встретившись с заведующей уктусской школой, гр. Кузнецовой, по пути, для красного словца, не приврала ей, что видела сейчас в лавке девчонку Екатерину Никитину, которая «так нахально толкалась, что, вероятно, сошла с ума».

По странному стечению обстоятельств, Никитина оказалась ученицей школы Кузнецовой и не просто ученицей, а дочерью той самой «негодной матери», которая недавно имела смелость публично бросить обвинение преподавателям школы в том, что подготовка учеников хромает и преподавание ведется крайне небрежно.

Воспользовавшись полученным заявлением о ненормальности девочкой, зав. школой Кузнецова приступила к действию.

Через некоторое непродолжительное время девочку посадили на заднюю парту, а все учащиеся ребятишки были информированы о том, что среди них есть сумасшедшая.

«Сумасшедшую» начали травить, за ней ходили ватагами, улюлюкали, дергали ее за руки, щипали и били, а когда однажды, выведенная из себя, она попробовала было сопротивляться, то учительница Кузнецова взяла ее за руку, провела через весь класс и, бросив ее на пол, приказала ей лежать, а сама, усевшись среди ребятишек, прочитала им короткую популярную лекцию: «О вреде сумасшествия и об опасности совместного с ним пребывания».

В продолжение всего этого девчурка лежала на полу, не смея подняться, и плакала, но... слезы — это еще не аргумент, а особенно слезы маленькой девчонки, к тому же еще объявленной ненормальной.

Не помогли и справки докторов-специалистов, категорически отрицающих всякую ненормальность девочки. Не помог приехавший из РайОНО специально посланный товарищ, приказавший прекратить эту травлю. Было созвано совещание школьного совета, на котором матери Никитиной объявили, что ее ребенок исключается из школы за ненормальностью.

Причем, воспользовавшись удобным случаем, матери Никитиной громогласно заявили, что девочке, конечно, нечего делать в той самой школе, на порядки которой с возмутительной дерзостью нападала мать!..

То есть: расчет был произведен полностью на все сто процентов, ибо, как это говорится, каждому воздастся по его заслугам, а мораль отсюда — держи язык за зубами!..

Девочке этой сейчас лет одиннадцать-двенадцать и, вероятно, с этого времени на ней навсегда останется ярлык «сумасшедшей», крепко приклеенный тяжелой рукой Кузнецовой. Впрочем, в будущем, возможно, ярлык этот будет вполне соответствовать содержанию, ибо, если самого здорового человека — хотя бы вас, читатель — упорно и настойчиво изо дня в день объявлять сумасшедшим, то рано или поздно, а все-таки человек надолго, всерьез и по-настоящему сойдет с ума.

Эту девочку Никитину — неизвестно где живущую и живущую ли вообще, и если живущую, то давно уже ставшую взрослой, Гайдар и высматривал во всех своих больницах — просто для того, чтобы сказать ей несколько утешительных слов. Но ему не везло. И, несмотря на легкую грусть, он даже был этому рад — возможно, что Никитиной удалось избавиться от ярлыка, и потому-то следов ее пребывания психиатрические лечебницы не сохранили.

В его воображении Екатерина Никитина была белой лилией, растущей среди упорно глушивших ее сорняков. Такой, как его первая большая любовь Мария Плаксина, которую, как он считал, он вырвал из ее невежественного окружения, приобщив к подлинной жизни. Или как погибшая под пытками бандита Соловьева шестнадцатилетняя разведчица Настя Кукарцева, — их с Гайдаром связывала трогательная дружба. Он тоже перенаправил тогда только что пробудившиеся юные силы этой необычной хакасской девушки на праведное, с его точки зрения, дело.

Не найдя опять Никитиной, Гайдар еще острее ощутил собственное одиночество, которого было ничем не заткнуть, и в то же время что-то тонкое, светлое, нежное, коснувшись груди, как незримым лучом, затеплило в ней искру, вдохнуло утраченную легкость. Тело наконец окутало что-то отдаленно похожее на спокойствие — дальнее, как небеса. Но это уже опять была глубина — некая недостижимая глубина над головой, а, пожалуй, именно этого он и искал за так сросшимся с ним образом «сумасшедшей» Никитиной.

Он свернул в просторную палату с распахнутой дверью, откуда доносился хохот.

Это была женская палата. Но тут сидели на стульях и мужчины.

Когда он вошел, мужчины сразу вскочили и бросились к нему, пожали руку, спросили, нет ли курева, и, смертельно разочарованные ответом, усадив на стул в середине палаты, забыли.

К счастью, его тут никто не знал, и поэтому байки не шли впереди Гайдара, как ходит, беспечно шествуя по кем-то проложенным рельсам локомотив, заставляя прохожих глядеть ему вслед.

Пока локомотив мчится в свою предсказуемую даль, люди просто идут по своим маленьким делам и худо-бедно делают их. И только некоторые стараются сделать свои дела хорошо.

А надо бы — иначе: надо бы делать только хорошие дела, и как можно старательней и лучше, и не из какого-то там скучного чувства долга, а с огоньком, вынося из этого радость.

Это последнее и называется настоящей историей.

Зная про такое его понимание истории, его друзья завели себе обычай слагать байки про его личную историю, поскольку, как они правильно понимали, большая история, как хорошая повесть, складывается из малых.

В этих байках было много шуточного, феерического, и это занятие так увлекло их, что существовал риск возникновения некой легенды о Гайдаре, настоящей на пусть и ироничном, но все же культе его личности.

Попыхивая трубкой, в подражание Главному Кормчему, Гайдар обычно только усмехался, хоть у него и не было усов. Сам он усматривал в этом потоке мыслей в не всегда трезвых и горячих головах «про нашего Гайдара» некое противоядие от культуры и даже антикульт.

И в самом деле — деяния ему приписывались какие-то мальчишеские. Великий Кормчий, услышав про них, наверняка бы нахмурился, а потом рассмеялся и с презрением отвернулся, не найдя тут пищи для ума и сердца и почему-то не обнаружив криминала, что было для него тяжелей всего, потому что в этом случае надо было копать глубже, а взрослой лопаты под рукой не было. Всюду на земле валялись только детские лопатки.

Одной из таких баек была, например, история про то, как он помогал живущей этажом ниже больной девочке. Это было в доме на Большой Дмитровке. У девочки японцы убили отца на дальневосточной границе, от чего она слегла в постель и могла видеть только кусочек неба за окном. Когда это небо затягивалось тучами, приходил Гайдар с конфетами и игрушками и пел ей песни.

Ну да, было такое дело, — думал, слушая все это, Гайдар. Конечно же, он не мог оставить без внимания больного ребенка, у которого к тому же погиб с оружием в руках отец. Только что ж в этом героического?

Или взять байку про то, как он посоветовал другу-однополчанину, у которого оторвало в Гражданскую на Киевском фронте ногу, заняться переплетным делом и сам нашел ему заказчиков, а потом — на первых порах — сам разносил им готовые книги.

Разве же так надо было заботиться о ветеранах-инвалидах?!

Вся страна должна была каждое утро петь гимн в честь таких героев, принимать их в качестве почетных работников на все предприятия, заранее зарезервировав места. Да еще и приводить к ним школьников на экскурсии, чтобы те делились с молодой порослью опытом. Вот это была бы забота!

А забота одного Гайдара — это, простите, слишком мало. Ее все равно на всех и на все не хватит. Тем более что у него есть еще и другие собственные дела, каких за него не переделать никому.

Но друзья таки сумели выкрутиться и сочинили байку про разбитое соседскими мальчишками окно в квартире Гайдара. Когда он, отдав тем мяч, неожиданно посоветовал им играть не только в футбол или разбойников в тоже полюбившихся ему в детстве «казаках и разбойниках», а — в хороших людей. И предложил отнести яблоко той самой потерявшей с отцом счастье жизни соседской Марусе. А заодно — спеть ей песню.

Так, по мысли друзей, Гайдар, сам того не ведая, стал отцом-основателем тимуровского движения — еще задолго до того, как написал «Тимура и его команду».

Байка, конечно, была интересная. И так оно, наверное, и было. Да вот только роль его опять-таки была преувеличенной — он всего лишь обнажил мальчишкам и девчонкам их настоящие желания, живущие в потаенных от взрослых уголках души.

А еще ходила удивительная байка про случай в трамвае.

Когда пассажиры поймали за руку смущенного человека в военной папаше, который лез в карман к бедному студенту, который за минуту до того чуть не был оштрафован кондуктором, так как не нашел чем заплатить.

Как возмущались пассажиры столь неслыханной черствостью вора!

А потом, когда появившийся милиционер провел молниеносное дознание, все как один замолчали, словно солдаты в почетном карауле. Никогда не видели они карманника, который лезет в карман затем, чтобы положить туда деньги.

Но опять-таки, как полагал Гайдар, хитровато улыбаясь вместо отсутствующих усов в свой легкий дымок из трубки, друзья промахнулись. Подумаешь — какая-то мелочь на несколько дней. Карманы студентов не должны быть пусты! Он всего лишь показал пример государству...

И была еще история про то, как он отучил Тимура бояться лягушек.

Он просто увлек его в далекий поход в лес, где лягушки так и скакали по болотистым кочкам. А потом, когда сын уже готов был разреветься, приподнял его на руках высоко над головой, и Тимур вдруг увидел вдали похожую издали на лягушку крышу родного дома.

Где бы ни был человек, родной дом всегда с ним, и что ему — какие-то лягушки. Вот что хотел сказать своему сыну отец.

Да, все это так.

Вот только кто бы ему самому показал этот счастливый родной дом, когда вокруг так и скачут вымахавшие с курицу лягушки.

Больше всего Гайдара удивляло другое — несмотря на то, что он то и дело отлеживал бока в санатории в Сокольниках, ругался с женой, не приносил в дом приличной зарплаты, а приводил — сомнительных друзей, был любителем выпить и, когда разозлят, во хмелю разбуяниться, мог совершать неожиданные поступки, вроде купленного вместо полезной для хозяйства утвари портрета Буденного во всю стену или регулярных побегов из дому без предупреждения в какое-нибудь увлекательное многодневное путешествие, когда Лия искала его потом по больницам и моргам, и даже — что было дико даже ему — зачем-то резался бритвой, несмотря на все это, байки про подлого Гайдара так никто и не сложил.

— Вы фронтовик? — спросил его один из сидевших мужчин. Это был очень молодой худощавый человек его лет, про каких обычно говорят, что они никогда не станут мужчинами. Несмотря на развитую мускулатуру, при помощи которой он, как Гайдар убедился в дальнейшем, охотно переносил вместе с рабочими кровати и тумбочки, таскал, вышагивая впереди повара, ведра с кипятком и громадные кастрюли с кашей и борщом, а также разнимал дерущихся, если замечал таковых раньше охочих до потасовок санитаров с веревками — словом, несмотря на доблесть, этот человек казался хрупким, как ребенок. Сквозь тонкую чистую кожу на узком нервном лице про-

свечивались жилки, да и натура его — пылкая, беспокойная, погруженная в какие-то горькие горячие думы, смертельно, наотмашь вдумчивая и в то же время опасливая, словно вжавшаяся из этой опасливости в самое себя — была вся как на ладони.

Когда Гайдар коротко сказал, что воевал в Гражданскую, человек этот — его звали Иваном — необычайно оживился и, сверкая болезненным жаром в глубине серых глаз, разразился проклятиями.

— Проклятая война! Я пришел с нее инвалидом и с тех пор лечусь. Я ничего не могу забыть — вот в чем моя проблема. Скажите, а как вы-то смогли... Вот вы — вы носите гимнастерку, у вас орден на груди — неважно, что он не боевой, я это понял, не беспокойтесь — я разбираюсь... Как вы смогли забыть?.. Каждую ночь мне снятся ужасные сны... Я часто вижу перед глазами все один и тот же эпизод. Молоденькая восемнадцатилетняя красавица медсестра. Только что из гимназии. Только закончила медицинские курсы. Ей просто разорвало в клочья гранатой живот. На глазах у всего взвода... Я ее даже не любил, а просто... Понимаете, он для историков эпизод. А для нее — это конец ее единственной жизни. Был бы хоть Бог, чтобы приветить ее там. Но я не верю в Бога. А поскольку его нет, то за что ей все это было, скажите? Нет, прав был Достоевский — если Бога нет, то, значит, все позволено. Но как тогда жить?

Гайдар, побледнев, молча похлопал его по плечу и встал. Не заметив, как упал его стул, он сделал шаг к выходу, но остановился и, повернувшись в вопрошающему, тихо обронил:

— Я понимаю тебя, друг... Держись, браток. Так, значит, нам всем и надо. Наши отцы так запустили жизнь на Руси, что нам пришлось разгрести... Никто не остался чистым. Но поверь — так было необходимо. Необходимо!.. Зато народ стал более цельным и все равно счастливым, назло всем смертям. Нельзя было больше тянуть на горбу этот рай для богатых. Это понимали даже лучшие люди из дворян.

— Да я не об этом. Это все понятно. Я о яме говорю, которой заканчивается жизнь. Вот жил человек, а потом после него — яма. Разве это справедливость? Где такая бомба, чтобы ее устранить? Вот ты, святой отец, придуриваешься тут малахольным, чтобы у тебя коммунисты не отобрали приход. Ты хоть думаешь, зачем тебе масло, сыр, яйца — зачем ты все это тянешь в свою норку? Я понимаю, что доверчивые граждане несут тебе все это сами. Я спрашиваю: зачем тебе это, когда ты завтра сдохнешь?

— Да иди ты... — беззлобно мотнул головой крепкий, кряжистый мужчина с черной курчавой бородой и зачем-то подмигнул Гайдару. После чего, вдруг осекшись, кашлянул и, отбросив свой стул, от чего он с грохотом свалился, протянул волосатую руку: — Целуй, комиссар!.. Перед тобой настоятель московского храма во имя благоверного князя... Впрочем, не будем обсуждать имен... Антонина!.. Отдай журнал!..

Стремительно подскочив к надевшей очки, взявшей в руки старый желтый журнал и набожно перекрестившейся степенной женщине, стоявшей лицом к востоку у угловой койки, он попробовал вырвать у нее журнал. Но не тут-то было. Женщина с такой силой огрела его по спине могучей, как лопата, рукой, что у того, должно быть, вместе с пылью перетряхнуло дух, от чего батюшка, присмирив, но не забыв еще раз подмигнуть Гайдару, поспешно ретировался из палаты.

— Вот ирод! — сказала женщина еще кипящим голосом и, взявшись за журнал как следует, обеими руками, принялась читать акафист Пресвятой Богородице. Но — внезапно обмякла. Глаза налились слезами. Поведя ими с тоской по стенам, она с тяжелым, растерянным взглядом опустила на койку, положила акафист на колени и принялась читать через силу про себя. По лицу ее катились беззвучные слезы.

Все молчали.

Когда женщина положила журнал на тумбочку, ее соседка с койки напротив осторожно спросила:

— Когда вы выписываетесь, Антонина Михайловна? Что сказал врач?

— Да ну!.. Обещал в среду, а потом говорит — рано еще, надо еще какую-то там диагностическую процедуру пройти. Потерпите уж, говорит, до следующей среды.

— А вы и потерпите. Немного осталось...

— У них всегда так — одни обещания. Я лежу здесь уже пятый раз, и все время приходится считать дни до выписки по новой. Вы хоть понимаете, что такое неделя?

— С другой стороны, Антонина Михайловна, а куда торопиться. Вот что вам делать дома?

— Как что делать? Стирать, убирать!..

Последнюю фразу Антонина Михайловна произнесла как о ребенке, горестно всплеснув руками, и, не выдержав, разрыдалась.

— У вас хоть дом, а у меня — взаправдашнее дитя... Сыну, правда, уже, двадцать лет, но для матери он — все дитя. Все время думаю, собрал ли перед работой ужин. Мне еще хуже вашего. Но пока вот держусь. Пойдемте, соседка, пройдемся по коридору — так время бежит быстрее.

После короткого горестно-мечтательного диалога о том, кто что будет делать после выписки, женщины, взяв друг друга под руку, отправились на «проспект» — так тут называли коридор, где все гуляли и обменивались новостями, а иногда и пели.

Это была знакомая Гайдара картина — больше всего пациентов психиатрической клиники угнетала необходимость все время находиться наедине с собой — с собственными мыслями и чувствами. Время было болью и казалось бесконечным. Поэтому, завидев докторов, все, торопливо поправляя халаты и всячески прихорашиваясь, вытягивали головы и спрашивали, как правило, издали, заискивающе и осторожно, боясь услышать ответ:

— Доктор, а доктор... А когда моя выписка?

Некоторые просились в цех, где клеили бумажные пакеты, но там все места были заняты. Трудно передать словами, как маялись тут люди, оставшись без работы.

И только самые отчаянные решительно спрашивали, как Иван:

— Эй, доктор! Ты долго меня тут держать будешь? Мне еще, между прочим, надо кормить мать. Я и так еле устроился со своим белым билетом грузчиком. А то, что меня загребли сюда из драки, так это неправильно! Я морд просто так бить не стану.

Легкий, звонкий, как колокольчик, смех нежно коснулся слуха со стороны койки у самой двери. Это рассмеялась чему-то в себе сидевшая строго посередине кровати очень тонкокостная, черноволосяя, черноглазая девушка с необычайно прямой осанкой. Все время молчащая девушка, на что-то — очень печальное — глядящая впереди себя. Богатая гамма невыразимых чувств отражалась, непрерывно изменяясь, в ее прозрачном, бездонном, как во время приступов у других больных, светящемся изнутри взоре.

Когда, раскачиваясь, как на качелях, она вдруг рассмеялась, улыбка, смешавшись с печалью, выпорхнула, как из печной трубы, и завилась, заструилась черным дымом.

Словно черная флейта зазвучала в ушах Гайдара.

Он не запомнил, сколько это длилось.

Он тихо вышел в коридор.

Там шагали и пели.

Как огромный тонкий кот, прошел, приостановившись, еще один батюшка — молодой и высокий, очень стройный, благообразный. Сочувственно прикоснувшись к нему грустным, полным какого-то доброго сияния взглядом, протянул яблоко.

Потом, пока Гайдар ходил в толпе по коридору, он подошел опять, уже с книгой в руке.

— Так это ради вас меня перевели в общую палату? — спросил он любезно. — Я хочу сказать вам спасибо! Ведь я не хотел быть изолированным от других, это администрация посчитала мое соседство опасным для народа... Но писатели, как видно, опасней. Вероятно, вы тоже помечены Богом.

Опять Бог!.. Как это уже надоело. Сегодня все словно сговорились. Золотом на черном выбито название книги в руке у очередного собеседника, мнящего себя водителем душ: «Епископ Игнатий Брянчанинов — Приношение современному монашеству».

— Простите, но мне кажется, вы ошиблись. Ваш коллега бегаёт тут недалече. Кажется, он все-таки вырвал из рук гражданки дореволюционный журнал.

— Вы отца Спиридона имеете в виду? Это шпик в рясе. В революцию он торговал оружием, а после подался в тайные служители властей. Таких в церкви много. Но к подлинной церкви они отношения не имеют.

— А где она — подлинная церковь?

— Вы не поверите — везде. И самое интересное, что в наши дни в нее можно войти прямо отсюда. Не только, конечно, отсюда... Есть еще другие места скорби. Есть тюрьмы, лагеря, брошенные старики, беспризорные дети, никому не нужные женщины, калеки-мужчины... Есть прикованные к постели инвалиды. Некоторых прикованных к перу писателей, периодически спускающихся в сей предрай, я полагаю, тоже можно приравнять к обреченным стучать. Стучите, коллега, и — вам откроется!..

— Милый товарищ, я вырос в Арзамасе, в шестидесяти верстах от Саровской пустыни. Но что-то мало благодати досталось моей малой дореволюционной Родине от батюшки Серафима Саровского. Разве что крепкие доски икон, за которыми укрывались, отстреливаясь от пуль, красноармейцы. Их, плененных, загоняли в храмы вместо темниц. Что же касается этого места — то это скорей предад.

— А это уже — дело вкуса и личного выбора. И зависит от тяжести содеянных в этой и прошлых жизнях грехов. Здесь люди не видят внешнего солнца, потому что оно перемещается вовнутрь. Солнце пришло и стучит, но глаза, ослепнув, не видят. Лицом к лицу лица не увидать. Что же касается святого Серафима, то, может, это он вас и хранит?

— Помилуйте, вы еще и в реинкарнацию верите? Ваши коллеги учили нас в арзамасской гимназии другому.

— Позвольте повторить еще раз: подлинная церковь состоит не только из опустившихся попов. Это братство живых и мертвых всех исповеданий. Взять, к примеру, астрологию. До пришествия Христа она была действенным способом читать предписанную Богом судьбу. Другое дело, что Иисус своей крестной смертью освободил нас от цепей кармы, взяв ее на себя. И все теперь зависит от святой Свободы. Человек может взять свой крест — эту свою написанную звездами в натальной карте судьбу — и пойти вслед за Христом. И тогда он не будет ощущать тяжести кармы, даже когда она убийственно тяжела, потому что на подлинно воцерковленного человека изольется Благодать и он поймет, что к чему без того, чтобы учиться из жизни в жизнь на одних и тех же ошибках. Так, к примеру, сбрасывают груз кармы раскаявшиеся и вставшие на путь Истины преступники. Но не у всех такое знание. Некоторые до сих пор молятся на идолов прошлого и ту же астрологию — истолковывают как раз и навсегда данное неподвижное знание. Это и есть те самые язычники, которых по-отечески корят, стараясь обратить в христианство, в Новом Завете. На самом же деле знание оживает только в движении. Это не более чем подпорки для роста духа в душе. Язычники были по-своему правы, пока не знали этого. Но Христос-то показал всем сво-

ей жизнью это движение живого духа в человеке. Однако большинство и по сей день предпочитает статику.

— Как и некоторые коммунисты. Я бы даже сказал — многие. В нашей вере тоже можно держаться за букву, не понимая Ленина. В этом смысле вы мыслите верно, но, материал для работы ума почему-то берете из ветхого прошлого.

— Не торопитесь отречься от прошлого. Его можно превзойти только движением по вертикали. А вы увлеклись горизонталью. Вот вы — вы, на мой взгляд, стали раздвоены потому, что, уж простите меня, стоите на гнилой опоре. Человек неверующий — гнилая опора. Потому что он не ищет Бога в себе. Он судит о Боге по наружной жизни. А наружную жизнь выстраивает под себя, не имеющего с Ним контакта. Еще и возлагая на Бога вину за этот построенный без него, как вы правильно сказали, предад. Вы думаете, что снаружи шумит подлинная жизнь? Нет, это лишь призрачный свет умершей звезды. У нас, как у больных чахоткой, просто выграла напоследок животная жажда жизни — вот что такое современная жизнь с ее лихорадочно ускоряющимся прогрессом техники. И вот представьте, вы, которому позарез необходимо подлинное, а не призрачное бытие, потому что вы-то Бога в себе чувствуете, хоть и не знаете к нему дороги — вы следите взглядом за горизонталью, шагая по ней наружно. А солнце-то внутри... Вот вас и выбрасывает в двенадцатый дом принудительно, согласно законам еще не познанной вами духовной природы. В астрологии имеются так называемые двенадцать астрологических домов. Последний, двенадцатый — это дом безличного служения Абсолюту. Точка высшего призвания человека. Но проблема в том, что он выделился искусственно. Я думаю, что когда человек был с Богом, двенадцатого дома просто не существовало. Цельный человек был без Тени. Теперь же в тени бессознательного живут не только связанные с Сатаной бесы, но и изгнанный из личности образ самого Бога. Этим местом управляют они оба — и Бог, и Сатана. И оба ведут отсюда сражение за душу человека. Вот что такое возникший после грехопадения двенадцатый астрологический дом. Приземленный человек сбросил своего Бога с помощью уклонения в горизонталь Времени. Об этом повествуется и в мифологии всех народов — например, в мифе о древнегреческом Кроносе, сбросившем своего отца Урана. Но семя Отца осталось — оно пребывает в водах бессознательного. И у всех есть шанс родить из морской пены Афродиту Уранию. Сфера бессознательного — это и есть сфера двенадцатого дома. Пациенты и врачи трудятся здесь, как каторжники на галерах, чтобы найти и спасти...

— Капитана Немо? Вы хотите сказать, что двенадцатый астрологический дом — это «Наутилус»?

— Можно сказать и так... Но, заметьте, в море есть еще и «Дункан». Ваш настоящий дом — одиннадцатый, а не двенадцатый. Потому что вы — русский писатель, и, по-видимому, хороший, хоть я и не знаю ни вашего имени, ни ваших книг, хотя, быть может, и читал их. Просто это видно по лицу... Одиннадцатый дом — это дом Водолея — мистического знака России. Двенадцатый астрологический дом есть его подлинная, а не гнилая опора. Но опора со спины. По ней можно плыть, поставив Алые Паруса. Но ни в коем случае нельзя тонуть. Выбирайтесь поскорей наверх, дорогой капитан! Смысл двенадцатого дома только в воскресении из мертвых. В том, чтобы вернуться из него в свой одиннадцатый с чертежами Новой Земли.

— Кстати, мой знак Зодиака — Водолей. Все это, конечно, лестно. Но скажите, пожалуйста, а что в таком случае, делаете здесь вы?

— А я рожден — Рыбами. И в знаке Рыб — обители двенадцатого дома — веду лицом к лицу битву с Сатаной. Выдавливая из воды муть собственного демонического начала. В астрологии сей персонаж называют еще злым Сатурном... А прямая борьба с собственным злом — самое трудное в жизни дело. Я вижу глубже. Но я хуже вас.

Я уже утонул. Но не умер, а спасся с помощью дельфина и могу теперь спасать, превращаясь в дельфина, других. Но вам в эти воды погружаться не нужно. Вы еще цельный. Вы просто сейчас глядите не туда. У вас чисто мировоззренческая ошибка. А душой вы — чисты. Плохо только, что вы все забываете. Вот отойдете сейчас от меня — и все забудете. Как Алиса, которая растет во сне. Точнее, это, наверное, так и должно быть. Господь управляет всем мудро.

— А что это за книгу вы читаете?

— Это монах прошлого века — епископ Игнатий Брянчанинов. Он в свое время полемизировал с Герценом. Когда указом царя отменили крепостное право, отец Игнатий, всеми силами души приветствовавший манифест, так как всегда ратовал за свободу от эксплуатации человека человеком, написал статью, где утверждалось, что отмена внешнего рабства не уничтожает, однако, рабства внутреннего и даже, напротив, при ослаблении внешних уз внутренний хам может обрести небывалую силу, распоясаться. Мудрость Бога в том, что он налагает внешние узы как механизм по защите человека от самого себя. Это как смиренная рубашка на несмирном человеке. Скрытую за такими актами гуманность мы по своей неопытности можем оценить лишь впоследствии. Нельзя выпрыгнуть из кармы, не беря своего креста и не идя за Христом... Но либеральная общественность не поняла главной мысли отца Игнатия и навесила на него ярлык песнопевца рабства. Впрочем, он не находил должного понимания и в тогдашней православной церкви. Ведь он констатировал, что дух настолько выветрился из современного христианства, даже из православного, которого он считал единственно подлинным, что представления о духовном пути человека, в том числе понятия о смирении и послушании, извратились до полной противоположности. Непримиримость с греховностью подменилось смирением с подлостью в окружающей действительности и своим с этим молчаливым соглашательством. Поэтому благостное послушание наставнику в условиях отсутствия духоносных учителей отныне не только не всегда возможно, но и, по мысли отца Игнатия, может в целом ряде случаев нанести непоправимый вред — то есть научить противоположному. Поэтому в наше время лучшие учителя — это книги. Но, разумеется, написанные духоносными наставниками. Игнатий Брянчанинов подразумевал под таковыми святых отцов православия, поскольку те уже выиграли свое сражение... Ладно, прощайте. Наверное, мы больше с вами не увидимся. Завтра меня, если Бог даст, выписывают.

— Пойдите... Можно попросить вас об одной услуге?.. Я дам вам телефон жены. Позвоните ей, пожалуйста, и попросите принести сигарет. Очень много сигарет. Пачек тридцать. И фруктов, печенья, пирожного, пирожков. Как можно больше. Можно корзины три или четыре. Деньги пусть возьмет в моем столе. Скажите, что это заказ за сценарий. Она поймет.

— Хорошо, а как вас зовут?

— Неважно.

— Ну, тогда с Богом, Алиса.

— С Богом.

Пробежали какие-то люди, стуча в громадную крышку от кастрюли. Распахивая двери по обеим сторонам коридора, они радостно выкрикивали «Ужин!». За ними шли, сдерживая улыбку, вслед за несущим в обеих руках по ведру Иваном держащие с двух сторон за ручки саму кастрюлю степенные поварахи. И — этот поток, в который тотчас стали вливаться, появляясь из палат, жаждущие простых, вечно дефицитных удовольствий, пациенты, разделил Гайдара с этим удивительным человеком. Тот пропал из поля видимости.

Вложив яблоко в руку пробегающего мальчишки, Гайдар тоже отправился в столовую.

Наевшись большим куском хлеба с маслом, который прилагался к жидкому и невкусному борщу и практически несладкому чаю, Гайдар и вправду почти забыл о разговоре. Во всяком случае, он позже поручил позвонить жене еще одному человеку — одной молодой журналистке, которую привезли в больницу из-за хулиганской хулы в адрес управдома в момент подпития. Протрезвев, журналистка осознала свою неправоту, слезно раскаялась и была через три дня отпущена домой. Но почему-то дома ей не сиделось, и на следующий день она опять постучалась в отделение — уже с гостинцами. Войдя с полной сумкой всяких вкусностей и сигарет, улыбаясь сквозь слезы, она принялась раздавать все это бывшим коллегам по несчастью, пытаясь за этим делом украдкой гладить некоторых по голове. Отчего не выдержала и разрыдалась. И немудрено. Она успела так сдружиться с обитателями отделения за свою тут бытность, что распевала втихомолку, за полуночными беседами, по ночам «Лучинушку», а утром — гуляя то с одними, то с другими под руками — и «Марсельезу». Выписывали ее тоже всем отделением. Дав на прощание наказ никогда сюда не возвращаться. Но послушавшаяся разумного совета журналистка с тех пор частенько навещалась в гости — по-прежнему с гостинцами. Поэтому Гайдар мог не беспокоиться за свое поручение.

На следующий день все было как всегда. С первыми лучами солнца в коридор вышагнули еще похожие на тени люди-жаворонки. Они наполнили его вьющимся теплым дымком, легкими, негромко переговаривающимися голосами. Проснулись и привели себя в порядок ночующие на длинных скамьях в фойе санитары. Открыла процедурную зевавшая медсестра, вышла к людям, и они любезно поприветствовали ее, после чего некоторые попытались уточнить день своей выписки, но ответа, как водится, не получили, зато медсестра включила радио, висевшее в фойе большой круглой дыней почти под самым потолком — для этого ей пришлось взобраться на табурет. Зазвучали сигналы новостей. На которые сразу подтянулись, выходя из нор-палат, даже самые угрюмые из обитателей. Новости обычно слушали молча, после чего, однако, вспыхивали обсуждения, иногда настолько бурные, что медсестре приходилось решительно рекомендовать очистить помещение перед процедурной.

Расхаживали петухами, зорко посматривая по сторонам, мнящие тут себя первыми санитары. Они останавливали некоторых больных, здоровались с ними за руку и расспрашивали о том, как прошла ночь, интересовались самочувствием. Пациентам приходилось отвечать. Некоторые отвечали угрюмо, некоторые — заискивающе, а иные — радушно, от всей души. Все понимали, что — случись какое ЧП — и те же санитары-благотельники мгновенно станут, подобно цепным псам, по другую сторону баррикад. В арсенале их средств имелись веревки, которые они пускали в ход весьма профессионально. Эти товарищи были неумолимы как никто другой. Столь же обманчивой была любезность медсестер, которые тоже могли отдавать приказ «зафиксировать с помощью веревок» чрезмерно разошедшегося, требовательного или просто очень горящего пациента. К тому же все они следили и подслушивали, донося каждое слово старшей медсестре, у которой был специальный журнал, куда заносились наблюдения за больными.

Потом — приходило счастливое время завтрака.

Потом — все выстраивались у процедурной и входили в нее по одному, где медсестра, заглядывая в журнал с назначениями, вкладывала в руку целую горсть заранее расфасованных таблеток и подавала стаканчик с водой. А стоящий рядом санитар потом осматривал рот — чтобы никто не вышел отсюда, не проглотив своих лекарств.

К этому времени в палатах и коридоре было уже очень шумно, и смех мешался с плачем. Некоторых выкрикивали по именам, прося подойти к массивным запертым

дверям, за которую их выпускали в специальную комнату, где их ожидали пришедшие навестить родственники. Это был самый долгожданный и взволнованный момент в жизни здешних обитателей.

Другим самым впечатляющим моментом было появление докторов.

Докторов здесь было человек пять — и каждый из пациентов с самого утра напряженно ждал своего, чтобы уточнить день выписки.

Но доктора, едва появившись, шли, в отличие от петухов-санитаров, никогда не отказывающих себе в общении с находящимися у них во власти безвластными людьми, как ничего не видящие, крадущиеся по своим только им понятным делам коты, и, что-то отвечая на ходу так и липнущим к ним пациентам, старались не встречаться с ними взглядами. Они укрывались за массивной дверью докторской и защелкивали замок.

После доктора, все-таки пробежавшись по палатам и выкрикивая своих пациентов, что-то записывали в свои бумаги. После обеда их уже никто не видел, хотя они еще оставались в больнице почти до вечера, слоняясь где-то вне отделения.

Единственным человеком, который вступал с пациентами в реальный, не лишенный некоторой сердечности контакт, был Абрам Моисеевич. Его тоже обступали вопрошающие о выписке больные, но он никогда не гнал их, а щедро обещал всем скорую выписку, не называя, однако, сроков. И — удивительно — большинство отходили от него, несмотря на всю неопределенность информации, с чувством глубокой удовлетворенности. После посещений Абрама Моисеевича обычно устанавливалась некоторая естественная тишина — такая бывает после сытного обеда перед полуденным отдыхом.

Главной особенностью Абрама Моисеевича было умение никогда не говорить «Нет», не говоря однако и «Да». Он умел соглашаться даже со своим тезкой.

У входа, опершись спиной в железные двери, сидел тот самый кажущийся стариком еще не старый человек, который попросил Гайдара в первый день плюнуть ему в глаз и говорил всем входящим и выходящим, что он — Моисей, потерявший свое лицо. Он просил не смотреть поэтому в свое нынешнее лицо, так как считал, что у человека тысячи лиц, а слишком пристальный взгляд может поймать и зафиксировать только одно.

— Хорошо, хорошо, голубчик, — говорил Абрам Моисеевич, бодро поправляя кепку на его голове, — вы будете у нас текучим, как Волга. Я не смотрю на вас!

Привезли и зафиксировали веревками шумевшего с вытаращенными глазами, все еще пытавшегося с кем-то драться пациента. Медсестра пригвоздила его к постели еще и уколком. Поговаривали, что это сотрудник иностранного посольства. Некоторые пациенты подходили к нему, лежащему в коридоре, как сельдь в обмороке, и внушали шепотом что-то ободряющее.

— Гайдар, к вам пришли! — прокричала санитарка. Эту фамилию повторили, как позывной, передавая друг другу по цепочке, несколько находившихся в коридоре больных.

Высокий человек в гимнастерке с орденом стремительно прошагал к выходу. Дверь раскрылась, и в нее шагнула журналистка с кошелками. Одну кошелку она, улыбаясь как доброму другу, передала человеку в гимнастерке.

Потом они оба проследовали в коридор.

Там они принялись раздавать сигареты и гостинцы стремительно подбегающим отовсюду пациентам.

Потом человек в гимнастерке вошел в палату, где его уже все знали, держа в руке маленький глобус, — он одолжил его у любившего коллекционировать у себя в каби-

нете всякую всячину Абрама Моисеевича. В другой руке он нес под мышкой одолженный у рабочих-ремонтников мяч — они любили перекидываться им в перерыв на погруженной в священную пустоту спортивной площадке, которая, по-видимому, существовала здесь в качестве памятника активной и здоровой жизни.

Глобус он поставил на стул посреди этой палаты, а сам сел на другой стул.

Под глобус он положил гостинцы.

Антонина Михайловна и ее более молодая подруга в это время тщетно пытались заставить печальную черноглазую девушку, по-прежнему сидевшую на своей угловой койке у входа и глядевшую святящимся изнутри взором в невидимую точку, пойти помыться в душ.

— Это безобразие! От тебя постоянно исходит дурной запах. Пойди, наконец, вымойся и постирай трусики. Мы с Ириной Николаевной моемся каждый второй день. Ведь вам же нравится, Ирина Николаевна?

— Очень нравится, Антонина Михайловна, вода всегда теплая, платить за нее не надо — отчего б не мыться? Пойди, пойди, Кристиночка. А то мы позовем санитара, и тогда ты пойдешь уже с ним.

— Пошли вон, шлюхи! — внезапно выкрикнула Кристина, взметнувшись со своего места и приняв бойцовскую позу. — Я знаю, что вы держите в своей голове — я слышу все ваши мысли... Я слышу... А вы... Я... Вы... Вы... Меня...

— Ой... Кажется, она опять хочет драться. Сестра, санитар!.. Ну, сейчас они устроят тебе баню.

— Не нужно никого звать, — сказал человек в гимнастерке. — Давайте лучше поиграем.

— А во что ты, Аркадий, умеешь играть?

— Я умею играть в планеты. Присядьте, пожалуйста, на кровати. Да, вот так... Спасибо. А теперь смотрите — вот это наша Земля.

Он поставил на ладонь глобус и вытянул перед собой руку.

Аккуратная, компактная, покрытая картой с крошечными океанами, которые, незримо сообщаясь, создавали иллюзию превосходства стихии воды, отсвечивающая голубоватым глянцем собственная планета в большой человеческой ладони навевала какое-то безотчетное благоговение. Всем захотелось ее потрогать.

Гайдар стал поочередно подносить ко всем Землю поближе.

Он подошел в том числе к поступившей накануне старухе, глядевшей в потолок со сложенными на груди руками. Та, не поворачивая лежащей на подушке седовласой головы с бледным лицом, поглядела на нее искоса, как птица, и глубоко вздохнула.

Перед Кристиной Гайдар присел на корточки и тихо спросил:

— Хочешь подержать?

— Да нет! — опасливо сказала Кристина. И схватив тут же глобус, поставила его на свою ладонь и тоже вытянула руку — тонкую и дрожащую, обтянутую черным свитером. Она тихо рассмеялась.

— Ты знаешь, я сегодня ходила слушать радио, и там сказали... Ох-хо-хо... Я все время смеюсь внутри. Я буду слушать радио каждый день... Они сказали... Что... Ты... Я... Уйди, ты кто тут такой?!

Отбросив глобус, словно он был кипящим чайником, она взобралась на кровать с ногами и прижалась, вся дрожа, к стенке.

Гайдар поднял глобус и, вернувшись на середину комнаты, бережно опустил его на стул. Взял в руку мяч.

— А теперь — поиграем в города и звезды, — сказал он дрогнувшим, изменившимся голосом.

— Это как?

— Вы будете называть друг за другом города, как это делают дети — по последней букве. Свои любимые города. А я — зажигать над ними звезды. Над каждым городом — свою, хранящую его планету.

— Это вроде как планету-мать? Хорошую ты придумал игру. Я в Москве родилась. Кто там у нее мать?

— Юпитер. Это самая большая из благостных планет. Одна из самых возвышенных. В женской ипостаси ее называют Юноной. Она несет в себе качества своего еще более высокого покровителя — Урана. И в то же время она не лишена и страсти, из-за чего может исказить волю самого божественного Урана. Из-за этой своей чрезмерности и напыщенности, гордыни, одним словом, она иногда делается приземленной и недалекой, как научивший свой народ в отсутствие Моисея поклоняться золотому тельцу Аарон. Держите, Антонина Михайловна, мяч!..

— А я родилась в Ленинграде.

— Стоп, Ирина Николаевна, Москва кончается на «а». Следующий город, стало быть, должен на «а» и начинаться. А вы тут разякались. При чем здесь ваш Ленинград?

— Бог с вами, Антонина Михайловна, я просто узнаю свою планету, а назову — город Арзамас.

— А Ленинград, я думаю, стоит под Сатурном. Он сдерживает страсти Юпитера и направляет его необъятные силы в духовное русло. Это Моисей, учащий Аарона выработать стержень. Но сам он — лишь обратное отражение Венеры. Той самой, которая еще спит в священных водах океана. Ее еще называют Афродитой Уранией. Сейчас ваша подруга перекинет мяч вам.

— Я... Я... Я... — сказала, все больше заикаясь и волнуясь, медленно отодвигающаяся от стены Кристина. Лицо ее покрылось красными пятнами. — Отдай!..

Она властно и в то же время опасно указала на глобус и тут же одернула руку.

Гайдар, присев к ней на кровать, снова вложил глобус в дрожащую ладонь.

— Знать бы, где родилась ты... — обронил он задумчиво, не ожидая ответа.

Но Кристина вдруг отчетливо произнесла:

— Саратов.

— Нептун, — вскричал Гайдар. — Вашему прекрасному городу на Волге покровительствует Нептун!

— Нептун... — тепло повторила Кристина и звонко рассмеялась. Прижав глобус к груди, она принялась покачиваться с ним, словно и вправду сидела в лодке.

— Кто там у нас сказал «Арзамас»? Этот маленький городок рядом с Саровской пустыней и есть земная обитель главного небесного покровителя России — Урана. Точнее, Саровская пустынь — это второй Арзамас. Вечный город-спутник того, первого Арзамаса. Пожалуй, Уран — это самая таинственная планета. Она связана с созвездием Водолея. Недаром на гербе старой России был двуглавый орел. Это символ двуликого Януса. Этот всегда скачущий впереди всадник умеет глядеть сразу во все концы земли и неба. Он носил солнце глубоко внутри. Не все его понимают... Афродита Урания, семя которой дремлет в глубоких водах Нептуна, — его дочь. Но она пока спит в своем зернышке. Не родился еще богатырь, который ее разбудит. Вот так, мои дорогие.

— А кто ж ты тогда будешь?

— А я... считайте меня просто сказочником. Мне пришлось проглотить Плутон.

Гайдар, глядевший все это время, как невидящим взором, поверх голов своих удивленных друзей, словно проснулся.

Он и сам не понимал, откуда пришли к нему все эти знания — ведь он не был силен в астрономии.

— Кажется, нас всех зовут принять яду. Пойду-ка я встану в очередь первым, — сказал он с прежней улыбкой — простой и добродушной, не лишенной, однако, нескрываемой хитринки. — А вы пока угощайтесь: на стуле, где Земля, конфеты, печенье, пирожки, пирожные.

В коридоре действительно передавали друг другу, как звенящую мелочь, без которой не купишь билета в трамвай, звонкий, строгий, местами надрывный клич: «Лекарства!.. Все в процедурную! И — поживей!»

Но тут случилась неожиданность.

Кристина, поймавшая мяч, брошенный ей Ириной Николаевной, вместо того чтобы вернуть его Гайдари, вдруг, стремительно вскочив, кинула его в окно.

Стекло рухнуло, и мяч вылетел во двор, проскочив в просвет между решетками из-за недостающих в одном месте прутьев.

Как в замедленной съемке, заплывали люди.

На самом деле они бегали, суетясь возле зияющей дыры. Кто-то пытался просунуть в нее голову и был, должно быть, похож на пробующую высунуться из панциря черепахи. Кто-то держал в руках фанеру и словно плыл, налегая на нее всем туловищем. Постукивали молоточки. Смеялась в воде, как русалка, Кристина. Да он и сам улыбался — неизвестно чему. Должно быть — куску серого заснеженного неба, который пролез в дом скорби, как честный черный хлеб.

Потом появился Сергей Иванович, держа на протянутой руке мяч. Под развевающимися на сквозняке полами наспех надетого его халата обнажилась грудь в гимнастике. На ней были три орденские нашивки.

— Вот вам и хаос, управляемый парами доброты. Хаос может стать управляемым, только если человек станет послушным. Иначе он всегда будет врагом себе самому. И пока это так, управлять хаосом в его душе будут те, кто выше — умеющие подчиняться и, следовательно, подчинять. Это и есть подлинная иерархия журавлей. Вы же пытаетесь дуть теплым ветром на синиц... Это путь к загниванию. Но будь вы честным парнем, каким пытаетесь выглядеть — то это было бы просто смешно, и только. Но вы-то ничем не лучше нас. Я знаю еще один город на «А». Это город Абакан. Вы помните, что вы сделали с хакасами? С десятками хакасских крестьян?.. Теми, кто обрел свой покой на дне Соленого озера? Помните, за что вас тогда турнули из партии и чуть было не расстреляли? За вас тогда заступился Тухачевский. Только это вас и спасло. У нас поговаривают, что Иосиф Виссарионович однажды обмолвился в узком кругу, когда кто-то посетовал, что детский писатель Гайдар не обласкан, что «мы-то, может, и простили бы Гайдара, но простят ли его хакасы?»

Нет, должно быть, это опять бред. Опять стучат в висках молоточки, вбивая гвозди непрерывно терзающих его мозг воспоминаний. Не может быть, чтобы этот чекист среднего звена знал о военной тайне давно отгремевшего времени. В 1922 году в Хакасии, во время войны с бандой белого атамана Соловьева, против Гайдара, который возглавлял тогда отряд ЧОН по ликвидации банды, особым отделом Енисейского отдела ГПУ было возбуждено дело № 274. Позже к расследованию присоединились еще три ведомства. Гайдара обвиняли в не слыханном даже для тех суровых времен злоупотреблении служебным положением. Поэтому дело одновременно и рассматривали сразу четыре инстанции: ГПУ, ЧОН, прокуратура 5-й армии и контрольная комиссия при Енисейском губернском комитете партии. На время следствия он был отстранен от командования, хоть и почему-то не арестован. Несмотря на то, что вины он не признал и, более того, решительно и — как мог — доказательно отвел все обвинения, признав только незаконный расстрел пяти человек при их попытке к бегству — незаконный только потому, что некому было составлять протоколы допросов и расстрельный приговор, — его действительно собирались расстрелять. Но

сверху пришел приказ. Его озвучил в своей резолюции командующий штабом губернского ЧОНа Кокоулин: «Арестовывать ни в коем случае, заменить и отозвать». Потом его еще осудили по партийной линии и исключили на два года из партии с лишением возможности занимать ответственные посты. После чего отозвали в Красноярск, где он подал рапорт с просьбой о возвращении в Москву — доучиваться в Академии Генерального штаба. Из академии его всего за три с половиной месяца до суда и направили, оторвав от учебы, как необычайно толкового и талантливого курсанта с проявленными на фронте задатками большого военачальника на борьбу с неуловимым Соловьевым. Губернское начальство просило тогда 1500 бойцов со штыками. А Москва — прислала одного восемнадцатилетнего Голикова. Увидев его, местные начальствующие князьки, так называемые хозяйственные и военные бары — про таких не изменившихся по сути, но поменявших цвет шкурки замшелых буржуев он позже напишет фельетон «Табель о рангах», — сразу же невзлюбили посланца Москвы. Они усмотрели в таком смешном, с их точки зрения, ответе на свою просьбу какой-то обидный и, вероятно, коварный подвох. И с самого начала принялись следить за безусым командиром, дав ему в подчинение для ловли Соловьева всего 102 красноармейца с четырьмя пулеметами и 26 кавалеристов. Позже этот отряд увеличился до 165 человек. Несмотря на то, что, согласно принятым в «табели о рангах» церемониальным действиям, должность Голикова называлась важно — начальник Второго боевого участка Ачинско-Минусинского боевого района — он фактически был под постоянным присмотром. Начальство обязало его два раза в день передавать через трех приставленных к нему чекистов письменные отчеты о всех-всех передвижениях по громадному Ачинско-Минусинскому району, присовокупив к ним описания всех-всех своих действий. И он их послушно составлял, не успев составить только одного протокола о расстрелах. Кроме того, были и соглядатаи в собственном отряде. Он понял это быстро. Как понял и то, что они, несмотря на тупость и малограмотность, а может, и благодаря этому, регулярно строчат на него доносы, вероятно, что-то присочиняя и от себя. Но это в его глазах — были мелочные люди. А на мелкие пакости в свой адрес он не привык обращать внимания. Он обратил на них внимание, только когда перед ним раскрыли толстую папку собравшихся со всех концов таежного участка сведений о его преступной деятельности.

Это позже, наверстывая упущенное за войну образование, Гайдар прочитает в «Былом и думах» у Герцена: «Чиновничество царит в северо-восточных губерниях Руси и в Сибири; тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки... даль страшная, все участвуют в выгодах, кража становится *res publica*. Самая власть царская, которая бьет как картечь, не может пробить эти подснежные, болотистые траншеи из топкой грязи. Все меры правительства — ослаблены, все желания искажены; оно обмануто, одурачено, предано, продано, и все с видом верноподданнического раболепия и с соблюдением всех канцелярских форм». Он поймет, что губернские помпадуры Красноярского края на момент его прибытия на службу не изменились, а только перекрасились.

Что же написал Голиков в своем первом большом отчете своим командирам в Красноярске?

Он крайне шокировал их своими выводами о причинах затянувшейся войны с Соловьевым.

Поскольку выводы были верны.

Но разили не в бровь, а в глаз.

За чем могли последовать, окажись все это доказано практикой, масштабные отставки.

Карьеры нынешних руководителей на всех звеньях могли развалиться, как карточные домики.

Во-первых, в отчете говорилось, что ошибки в проведении операций носят тактический характер. Чоновцы слишком увлеклись стратегическим духом, не выработав никаких конкретных планов. Слабые они, одним словом, были оперативные работники. Даже не удосужились за два года войны с столь хитрым и талантливым противником создать агентурную разведку.

И это он, мальчишка в их глазах, написал, правда в сухих казенных выражениях, своим командирам!

А выводы между тем базировались на главном открытии посланца Москвы.

Голиков раскрыл главный секрет широкой поддержки Соловьева местным хакасским населением.

Тот попросту дурачил хакасов при помощи своих двойников!

В один и тот же день и час в разных селениях, затерянных в громадной тайге на протяжении десяти тысяч километров, появлялись сразу четыре отряда во главе с человеком, внешне одетым, как Соловьев, похожего на него и внешностью.

Вот и распространялась между выросших среди шаманских культов малограмотных хакасов весть о том, что Соловьев вездесущ.

А это уже — мистическая вера. Хакасы помогали ему как посланцу своих родовых духов.

Голиков создал агентурную разведку, и очень скоро — не прошло и трех месяцев — Соловьев дал понять, что собирается сдать. Затянувшаяся война измотала и его. Он понимал, что развязка когда-нибудь наступит и будет не в его пользу. А грамотный и смелый, эффективно теснивший его новый чоновский командир мог ее значительно ускорить. Его не сломило даже то, что Соловьев убил его шестнадцатилетнюю подругу-разведчицу — хакаску Настю Кукарцеву. Более того — отныне Соловьеву не уйти от возмездия. Это он почувствовал всем нутром.

Но этот же командир был прагматиком, а не мстителем и, если надо, умел договариваться.

И Соловьев пошел на переговоры.

Стали обсуждать детали. Предполагалось, что, сдав республике награбленное в золотопромышленном районе золото — а его, по слухам, водилось у Соловьева немало, — тот вместе с разоружившимися бойцами своего отряда отправится в места заключения на минимально возможный срок. У Голикова уже был опыт таких переговоров, когда по предложенному им главкому Тухачевскому плану в тамбовскую кампанию сдались и разошлись по домам более половины восставших против Советской власти крестьян.

И тут-то — Голикову предъявили обвинения.

Вначале он не поверил своим глазам и даже рассмеялся. Перед ним лежала пухлая папка с доносами, донесениями и жалобами от собственных боевых товарищей, а также жалобы крестьян-хакасов на его многочисленные жестокие выходки. Пьяный кураж, грубость с подчиненными, бранная речь, применение пыток и грабежи в отношении местного населения. Не снится ли ему это все?.. Он пил не больше других, практически не употреблял мата, не грубил подчиненным, а просто говорил все как есть, а что касается пыток и грабежей, то все знали, что такому в его отряде не бывать! Чоновцы привыкли разбойничать, пользуясь тем, что Бога теперь нет, а Москва далеко, но в его отряде это моментально стало вчерашним днем. Это знали все.

Так кто же составил эту кипу бумаг?

Вначале он подумал, что у них — один автор. И его надо просто разоблачить. Это, по-видимому, какой-то предатель, возможно даже затесавшийся агент Соловьева, решившего обыграть его таким образом.

Но на дознание стали приходиться некоторые его подчиненные и непосредственные начальники — и все как один показывали: «Виновен!»

Приводили хакасов, и те, гневно показывая на него руками, выкрикивали: «Архашка Голиков!.. Хайдар!» И — принимались рассказывать о его бандитских расправах с населением.

Этот облик Архашки Хайдара, словно в насмешку над ним, содержал все то, что Гайдар, который еще не был тогда Гайдаром, а был просто юным красным командиром, выходящем из семьи выступивших в революцию на стороне большевиков интеллигентов, никогда в себе не имел и что — еще важнее — ненавидел в других.

Однажды, когда он въехал с отрядом в одно село, одна пожилая хакасская женщина, подойдя к нему, еще сидевшему в седле, любовно погладила коня и, взглянув ему в лицо, ласково сказала: «Хайдар».

Кто-то из сослуживцев коротко объяснил ему, что так в Хакасии называют всадников, скачущих всегда впереди.

Еще это слово можно было истолковать как просто «Вперед». А еще как — просто «Куда?».

Последнее значение сразу всколыхнуло фантазию.

«Куда ведет твоя дорога?» — почудилось ему еще одно значение столь необыкновенно емкого слова.

— Спасибо, мать, — сказал глубоко тронутый, польщенный Гайдар. Который был тогда — просто Голиковым. Он воспринял это как благословение.

Как видно, благословение было подслушано предателем.

И теперь, по странному стечению обстоятельств, почему-то фигурировало в бумагах и устах хакасских крестьян, которых приводили на дознание — в качестве клички какого-то дикого архаровца.

Он, конечно, с гневом, который местами переходил в смех, все еще в чем-то доверчивый, простодушный, все отрицал.

И с жаром предлагал заняться выявлением соловьевской агентуры, сочинившей все это безобразие.

Но потом последовал главный, оставленный напоследок удар. Перед ним положили дело о Соленом озере. Засекреченное дело.

В нем говорилось о массовых расстрелах с утоплением трупов в Соленом озере близ села Форпост десятков местных жителей бывшим начальником Второго боевого участка Ачинско-Минусинского боевого района Аркадием Голиковым. Также в деле говорилось об аналогичных бесчинствах вокруг знаменитого Божьего озера.

Подробности этих расстрелов, после чего мистически настроенные хакасы стали утверждать, что воды Соленого озера стали красными от крови, были ужасны.

В документах даже было сказано, что шаманы проклинали Голикова за это преступление над своим народом.

Да, так это и называлось в документах — преступление над народом.

И самым страшным было то, что Гайдар внезапно понял — его действительно кто-то совершил.

Как, по-видимому, совершил и большинство тех дел, о которых, выкрикивая в его лицо проклятия, охотно рассказывали приходившие на заседания комиссии местные жители из числа хакасов.

Но как?!

Он понял — его подставляют свои.

Это была круговая засада.

Громадная и подлая подстава.

Очень хорошо спланированная и хладнокровно осуществленная, несмотря на всю нелепость нестыковок чисто морально-психологического плана.

Этого он не ожидал.

Не ожидал, что представляющие Советскую власть люди, многие из которых были коммунистами, хладнокровно пойдут на такое преступление над народом, — и все только для того, чтобы обелить себя перед московским командованием, выставив их посланца — поскользнувшимся от опьянения слишком большим доверием и властью неуравновешенным юнцом. Тем более что, видимо, все тут издавна охотились за мифическим соловьевским золотом, втайне надеясь «войти в долю». План Голикова по добровольной сдаче Соловьевым золота резко пошатнул эти надежды.

Расчет был верен — из Москвы пришел приказ засекретить дело о Соленом озере, а документы по нему — уничтожить. Поэтому официально его судили по другому делу — за отдельные, более адекватные случаи превышения своих полномочий, которых он тоже не совершал. И многое списали на — «молодо-зелено». А также — на открывшуюся у Голикова нервную болезнь.

Из Красноярска вскоре после завершения дела он написал сестре:

Мне приходится уехать на месяц в Физиобально-терапевтический (физиобальнеотерапевтический???) институт в Томск. На днях по поручению губкома был созван консилиум, и врачи определили: истощение нервной системы в тяжелой форме на почве переутомления и бывшей контузии, с функциональным расстройством и аритмией сердечной деятельности.

Недовольно посмотрел Лбов, прерывая речь, и сказал Матросу строго:

— Чего это там твой конвой разорался? Опять перепились. Да и сам-то ты, всегда от тебя несет, как от винной бочки!

— Полно, — ответил Матрос, играя двухфунтовым брелком, — что ты, Лбов, святыми, что ли, нас хочешь сделать?..

— Не святыми, а распускаетесь здорово, грабить без толку начали. Вон вчера у Ворона один другого ножом пырнул, поделить не сумели чего-то.

— Так то у Ворона, а у меня этого нет, у меня, брат, всегда распределено, кому сколько.

— Ой, смотри, Матрос, — и усмешка мелькнула у Лбова, — не всегда и не на все у меня глаза закрыты, не слишком ли у тебя уж распределено, кому, что и сколько? Бандитом настоящим, того и гляди, станешь.

Бросил играть брелком Матрос, отвернул глаза и сказал Змею, но негромко, так, чтобы не слышал Лбов:

— Что же нам, монахами, что ли, быть? На то и разбойничали, чтобы грабить, на то и живем, чтобы пить, а то что ж тогда, волчья жизнь совсем получится. Да что он, с ума, что ли, сошел, аль не видит — все кругом пьют, а не мои только, а настоешь, если всех подсчитать, так много будет... Я думаю, что около четырехсот наверняка наберется.

Но Змей посмотрел на него злыми, желтыми глазами, перекривил свое и без того искаженное лицо:

— Много... Это наша и беда, что много.

.....

А в это время Лбову принесли три тяжелых известия.

На станции полиция по указке одного из лбовцев-provokatorov арестовала Фому. У Ворона, опять не поделившие что-то, несколько человек убили друг друга.

Моряк ограбил деньги крестьянской потребилки.

И Лбов остро почувствовал вдруг, как поляна под ним дрогнула, колыхнулась, будто это была не лесная поляна, а плот, брошенный на волны седой Камы.

...С арестом Фомы, умевшего как нельзя лучше улаживать всякие вопросы с подпольной Пермью, у Лбова, не знающего, чего он, собственно, сам хочет, порвалась всякая связь с революционной партией. Бесцельные грабежи начали входить в систему, и тщетно Лбов со своими помощниками пытался установить порядок, дисциплину.

Он заколол штыком однажды Моряка, убил Зацепу, убил Великоволожского, начинавших предаваться разнузданному грабежу, и выработал даже нечто вроде устава «Первого революционного партизанского отряда». Но ничто не помогало.

Лбова погубила его оторванность от подпольной рабочей массы, его анархичность и его собственная слава, так как со всех концов Урала к нему начали стекаться неустойчивые, чуждые делу рабочего класса элементы, желающие хотя раз в жизни погулять, повольничать, пограбить, пострелять в ненавистную полицию, но совершенно не задумывающиеся о конечных целях вооруженного восстания.

Однажды в пятнадцать лет он несся на коне в атаку. И вдруг ворвался в бездну. Внезапно погрузившийся в черноту мир исчез. Раненый конь, взвившись на дыбы, сбросил всадника на спину. Это разорвался шрапнельный снаряд. Несколько пуль и осколков попало в ногу. Дико болел позвоночник. Но он превозмог боль и добрел до полковых медиков.

Тогда он быстро пошел на поправку. И лишь иногда мучили с тех пор приступы мигрени да летали перед глазами фантомами разлетевшихся осколков мушки.

Фигура с орденскими нашивками... На самом деле безголовая, укрывшаяся за мяч. Овеваемая реющими в сквозняке полами будто снятого с чужого плеча докторского халата. Как хочется дернуть под ним погоны!.. Надо просто сделать шаг... Протянуть руки и сомкнуть их на горле. Чтобы никогда больше никто не погиб в хватках объятий паука... Но фигура течет между пальцев, как зыбкий туман. А вместо нее вырисовывается еще одна морда в погонах, которая однажды шепнула ему: «Лучше бы вы со славой погибли в бою». Эта фигура тоже тогда растаяла в воздухе, и он долго ловил потом руками просто воздух... Почему-то ему показалось тогда, что это Титов. Это был его приятель по работе в дальневосточной газете. Они снимали тогда с ним и Борей Саксом в Хабаровске комнату на троих. К счастью, Титов к тому времени уже ушел на работу и не видел, как забредивший Гайдар усмотрел врага в нем. Только что приятели безуспешно пытались устроить Гайдара в больницу, но там его не приняли, не поверив, что больной мог явиться в такое учреждение сам, к тому же ничем еще не проявив и других своих отличий от «людей нормальных». Тогда он еще пытался шутить, пока сидел в вестибюле на ступеньке, куда, уже теряя нить мыслей, опустился, едва переступив порог учреждения: «Хорошие у меня товарищи, куда привезли».

Позже Сакс рассказал ему, что, вернувшись домой, он схватил стул, повыбивал им стекла и, взяв в другую руку боржомную бутылку, стал поджидать Титова, чтобы расправиться с ним за какую-то клевету. Но беду как-то отвел живший во флигеле позади дома старый чекист, с которым у Гайдара нашлись общие воспоминания о военной юности. Гайдар тогда выбрался из тумана при помощи простого разговора за бутылкой. Они просидели тогда в саду немало времени. Он слышал, как его собеседник воскликнул в ответ на упрек Сакса, что напрасно тот снова отпустил его в дом,

ведь туда может вернуться Титов: «Это прекрасный парень! Я за него ручаюсь Мы, старые чекисты, умеем разбираться в людях».

Тогда, уже очень давно, но все это стояло перед глазами, как сейчас, в мчавшемся из Сибири поезде, на котором он возвращался в Москву, он опять припомнил тот эпизод с конем. Мир снова померк, как от взрыва шрапнельного снаряда, и он едва доехал, давя в себе внезапно разрезавшую мир пополам тревогу.

Он остался в этой тревоге, как за черным стеклом, через которое виделся теперь мир.

Безуспешно пытался он выбраться из охватившей все тело липкой слабости, в которой он с беззвучно катящимися по щекам слезами беспомощно ворочался, как в туго спеленатых пеленках. Мышцы мелко дрожали, под спиной скапливался пот, а в позвоночник словно вонзили штык, вертя его там внутри с нечеловеческой болью.

Он тогда так и не смог доучиться в академии.

Два года он лечился у невропатологов.

И был в итоге комиссован из армии с диагнозом «посттравматический невроз». К которому позже его главный лечащий доктор Абрам Моисеевич стал задумчиво прибавлять: «Вероятно, еще и истериопсихоз». Но какой смысл он вкладывал в эту расплывчатую, так и не попавшую в бумаги формулировку, понять было невозможно.

Сказались, как ему объяснили с самого начала доктора, последствия контузии.

Эта болезнь — травматический невроз — часто носит, по их словам, отсроченный характер и настигает бойцов позже, иногда уже в миру.

Тем более таких юных бойцов, с еще не выработавшимся психологическим иммунитетом против мерзостей жизни.

В двадцать лет — когда у других военная карьера только начинается — все для него было кончено.

Это только потом, через месяцы и годы, он как-то притерпелся к этому невыносимому для него повороту судьбы и написал свою первую повесть «В дни поражений и побед», которую опубликовал в 1925 году ленинградский журнал «Ковш». Но это было очень слабое в литературном смысле произведение. Что и донесла ему литературная критика.

Тогда он ушел с головой в журналистику. Работал, насколько позволяла болезнь, прежде чем перебраться в Москву, в газетах Перми, Свердловска, Архангельска. Уже живя в Москве и будучи известным писателем, уехал после ухода жены в Хабаровск и работал какое-то время в «Тихоокеанской звезде». Писал в журналистике много, приобрел даже у читателей Перми славу лучшего фельетониста. Собственно, повесть «Жизнь ни во что (Лбовщина)» — первая его относительно удачная вещь для взрослых — и печаталась вначале с продолжениями в местной «Звезде» как чисто газетный материал. Однако в сроки сдачи материалов, как правило, укладываться не удавалось. Да и с начальством отношения складывались не всегда.

Он был, например, однажды судим за фельетон «Шумит ночной Марсель», направленный против пермского следователя Филатова, подрабатывающего вечерами в ресторане игрой на гармонии. Судом был частично оправдан, а потом — окончательно оправдан выступившими в защиту своего любимого журналиста пермяками. Точку в этом деле поставил фельетон «Преступление Гайдара» в его защиту — он был напечатан аж в самой московской «Правде». Но местная редакция все равно отказалась брать его дальнейшие материалы с расследованиями, и он, разругавшись с начальством, перебрался на время в Свердловск. А сколько путешествовал!.. Ради путешествий Гайдар мог отодвинуть в сторону все! Буквально сбежать по дороге на рынок, как это случилось однажды в Архангельске, когда Лия послала его перед воскресным обедом за малосольными огурцами. Тогда он встретил плотогонов-сплавщиков, уез-

жавших за город на северную реку, и, пристав к ним, двадцать дней с увлечением перегонял плоты, питаюсь только воблой. Забыв, правда — что случилось далеко не однажды, — предупредить жену. География его поездок по стране обширна.

И столь же непоседлив он был, когда уже переехал в 1927 году в Москву, устроившись поначалу корреспондентом газеты «Красный воин». Можно даже сказать, что в подмосковном Кунцево, где он обосновался на первых порах и куда перевез в 1930 году жену и сына, а потом в доме на Большой Дмитровке, а после — в своей коммуналке в Большом Казенном переулке, он жил только наездами.

Но больше всего, пожалуй, поначалу его приветила Пермь.

Он встретил в Перми Лию и Риту.

Там же — узнал о беременности жены.

И там же — 7 ноября 1925 года — впервые подписал под своим произведением в той же пермской «Звезде» — это был рассказ «Угловой дом» — имя Гайдар.

Впрочем, он отождествил себя с этим именем гораздо раньше — когда узнал про Соленое озеро.

Он написал в 1923 году в Красноярске, где ожидал после суда разрешения вернуться на учебу в академию, такие стихи:

Все прошло. Но дымят пожарища,
Слышны рокоты бурь вдали.
Все ушли от Гайдара товарищи.
Дальше, дальше вперед ушли.

Его внезапно осенила тогда — тоже отсроченно, как последствия былой травмы — спасительная догадка: а ведь его командиры повернули против него то самое психологическое оружие, секрет которого он раскрыл, добросовестно изложив свои мысли в первом же донесении, собственному командованию в Хакасии.

По примеру талантливого бандита Соловья они создали отряд-двойник во главе с командиром-двойником. А может, и систему таких двойников. Этот рядящийся в Архашку Голикова-Хайдара двойник и наделал в Ачинско-Минусинском районе столько черных дел, вводя в заблуждение местное население. Это не ему, а в лицо того архаровца бросали с праведным гневом хакасы свои проклятия, от которых холодело внутри и появлялось чувство неизвестной вины.

Эта вина навсегда укоренилась в нем, ведь он был виноват уже в том, что служил с такими архаровцами в родной Красной Армии. Как говорится, вместе пил, вместе ел и — ничего не подозревал. Проворонил такую беду!.. Причем в самом сердце района — в селе Форпост, где и квартировал с ядром своего отряда. Туда, в Соленое озеро — озеро Тус, — где издавна добывали соль, кто-то бросил под лед несколько десятков человек. А ведь среди них были и старики, женщины, дети.

Кроме того, стариков, женщин и детей из-за него мучили и убивали, отбирали у них скот и имущество по всему Ачинско-Минусинскому району.

Какой он был еще глупый и неумелый!..

Зря, действительно, столичное командование доверило ему это дело.

Неудивительно, что ему никто не поверил на слово.

А поверили — многочисленным доносчикам, поскольку те подкрепляли свои наветы свидетельствами живых очевидцев подлинного преступления.

Причем поначалу у него и самого пошла кругом голова. Перед глазами все разом смешалось и сместилось. И в этой сместившейся, загнанной в плоскость реальности

он чуть было покорно не признал, как, вероятно, признавали самые невероятные обвинения в свой адрес в подвалах Лубянки нынешние «враги народа», — что, вероятно, остушился во хмелю.

«Неужели, — мучительно думал он сквозь навалившиеся дремоту и усталость, — я действительно страдаю приступами неконтролируемой ярости, которые потом совершенно изглаживаются из памяти? Моя нервная система действительно вот уже шесть лет работает на пределе возможностей, я истощен, но подкрепляю себя алкоголем, потому что война не окончена».

К счастью, у него была очень хорошая логика.

И позже пришло другое понимание.

Но сны про плавающие в Соленом озере окровавленные трупы будут сниться ему всю жизнь.

Что ж!.. Тогда он действительно станет этим скачущим всегда впереди всадником.

Но не отвратительным преступником Хайдаром, трусливо прикрывающимся за чужим именем и лицом, а Львом-Гайдаром! Ведь арабы, как ему рассказывали в свое время те из хакасов, что встали на сторону Советской власти, этим многозначным словом называли также львов. Примерно так же, в несколько другой огласовке, украинцы называли овцеводов, пастухов. А если немного пофантазировать, то получится, что Гайдар — это «Голиков Аркадий из Арзамаса». Вроде как «Д'Артаньян — из Артаньяна». Так он всем и будет говорить. Впрочем, он лучше никому ничего не скажет, а будет по-прежнему больше слушать, как давно привык. Пусть люди жарко спорят, поворачивая его имя то так, то этак, а он будет просто таинственно улыбаться, выпуская кольца дыма из любимой трубки. Главное, чтобы не сажали за имя в печь... А имя — оно просто имя. Хоть за него он готов пойти и на смерть. И потом — в имени могут обнаружиться по мере того, как он растет, выметая из головы шелуху прежних понятий и вытягивая из омота душу, и какие-то новые, неизвестные ему значения. Ведь имя — это дом. А Родина — это вся бездонная вселенная с его периодическими мировыми пожарами.

Ах, если бы писатели всегда знали сами, о чем они пишут!.. Но тогда литература бы умерла. Так как некому бы больше стало нырять в глубину, чтобы когда-нибудь встать на твердую опору. И если она — твердая опора? Пока что он опирался только на Путь.

Гайдар против Хайдара!

Друг армии Голиков Аркадий — против красных бандитов!

Новый Тимур — Тимур Гараев — против новой Орды: пока это орда хулигана Квакина и тому еще не поздно остановиться!..

Отец Альки с пионерами «Артека» и сам погибший от рук бандитов малыш — против рядящихся в своих кулаков.

Барабанщик — против бросившего его на произвол после ареста отца общества. Мальчиш-Кибальчиш — против предавшего их общее Дело за банку варенья и корзинку печенья Мальчиша-Плохиша, бывшего только пешкой в руках мировой нечисти.

Благородный воин Гайдар — против серого кардинала партии, впервые в истории ставшего ее главной фигурой, Человека в Футляре номер один.

Но это уже — Военная Тайна...

Первый революционный отряд пермских партизан, образовавшийся в подавленную царским правительством первую русскую революцию, просуществовал недолго. Он развалился из-за опьянения своей поднявшейся из глубин мутной силой.

Его не спасло даже то, что отряд возглавлял такой честный и ответственный человек, как рабочий Александр Лбов.

Но и командиру тоже по-своему не хватало сознательности, не хватало понимания конечной цели борьбы.

Последний удар пришел оттуда, откуда он меньше всего ожидал.

К нему явился представитель самого Азефа — члена ЦК революционной партии эсеров — и пообещал прислать опытных инструкторов, которые помогут поднять уровень сознательности лбовцев. Но никто тогда не знал, что Азеф был опытным провокатором — шпиком царской охраны. Внедренный им человек и довершил гибель пермского восстания.

Сам же Лбов был арестован и повешен.

Но перед тем как он взобрался на эшафоте, ему напоследок принесли в камеру письмо женщины. Это было письмо богатой и образованной, пылкой, несколько взбалмошной дворянки Риты Нейберг. Но она поняла и полюбила Лбова и его высокую, быть может, непонятную и еще и ему самому душу. И как могла, помогала ему и отряду, хоть он и до последнего отталкивал ее, не доверяя как чуждому, с его точки зрения, элементу. Это последняя ласка — даже от чуждого как будто стана — стала для него признанием-откровением его правоты. Лбов понял — жизнь прожита не зря.

Но это не значит, что ему было не больно!..

«Подлец!.. Убийца!.. Предатель!..» — хотел крикнуть Гайдар в лицо этому подлому заму профессора из новых чекистов-головорезов, обросших в мирное время орденскими нашивками неизвестно за что.

Но вместо этого, повернувшись к тому спиной, выбежал из палаты.

Там он прижался к стене лбом.

Вот чертовщина! Стена была всюду — куда ни повернешь.

Глухая стена — из своих.

Глухая стена — из чужих.

Три метра коридора — на жизнь.

Почто она ему, такая?!

Он прижался, повернувшись к стене спиной, и сел на пол, обхватив колени руками.

Так он сидел однажды в Крыму на скале. Сидел и плакал.

В одном из писем маленьким приемным дочерям Эре и Свете — а он разговаривал с ними как с самыми понятливыми в мире людьми — он потом написал:

...Вчера ночью над горами пронесся могучий ураган — даже земля дрожала и деревья так и кланялись чуть не до земли. А потом, утром, взошло горячее солнышко, и все зверюшки запрыгали, все птицы запели, и даже в море рыбины за-скакали, а петь они не умеют, а то в рот вода нальется... Сегодня мы видели змею, пили какао и пели песни...

...Это письмо пишу вам на другой день после того, как спустился я с угрюмых скал Геленджика в солнечную долину пионерского лагеря. Серые туманы окутывали нас почти двое суток. Стремительные ветры да дикие орлы кружились над нашими головами. Мы лезли такими опасными и крутыми тропинками меж гор и пропастей, по каким мне еще не приходилось лазить с далеких времен гражданской войны. На вершине скалы Ганзуры я сидел один и плакал о потерянной моло-

дости ровно один час и 24 минуты. Вероятно, поплакал бы и больше, если бы снизу от костров не донесся запах чего-то жареного, и мне захотелось поесть. Поспешно тут спустился я в ущелье, и было самое время, потому что все уже успели захватить себе куски получше, а мне достался какой-то костлявый обглодок.

После этого закутался я в свое серое солдатское одеяло и, подложив под голову тяжелый камень, крепко заснул.

Видел я во сне чудный месяц, который плывет над рекой.

Видел Теремок у речки над водичкой.

Видел я обезьяну — Черный хвост. И ужасно кричала эта проклятая обезьяна, когда уклюнула ее смелая птичка-синичка.

Вдруг раздался гром, и я проснулся...

В письме многое, конечно, осталось за кадром.

Как и в большинстве его скупых на подробности о личном, внутреннем, письмах и дневниках.

Осталось за кадром, вечно отзывающееся болью и слезами, чувство жуткой вины за свою доверчивость и неосмотрительность, за способность скоропалительно портить отношения с некоторыми начальниками и подчиненными тем, что говорил им все как есть. Как ни крути, а командиром отряда ЧОН Ачинско-Минусинского района был тогда он, и, значит, это он пропустил расстрелы на Соленом озере и все другие преступления. Проморгал отряд своего черного двойника.

От этого иногда становилось так больно, что он ненавидел и себя, и свою жалкую шкуру с не годной ни на что жизнью.

В такие минуты он и хватался за бритву или нож.

Невыносимая боль в голове, ворочающаяся штыком даже в позвоночнике, была лишь только одним из отягчающих это противостояние с собственной телесностью моментом.

В то время как люди полегли там, на дне озера, он смеет жить и писать книги, получать за это гонорары, путешествовать, радоваться, любить... Знал бы кто, как позарез ему нужно вернуться вновь в армию и искупить свою вину, отдав за Родину все-все свои силы, умения и навыки! А лучше — самую жизнь!

Но Красная Армия не хочет его жизни, она его щадит!

В такие часы к нему лучше было не подходить. Несколько раз родным и друзьям удавалось вырвать у него, запершегося в комнате, лезвие в самый последний момент. От этого по всему телу оставались шрамы — так выворачивалась наружу его рыдающая душа.

Ну и конечно, за кадром в письме осталось глубоко личное. На скале в Геленджике он не мог не вспомнить свое первое посещение «Артека». Тогда он был там с маленьким Тимуром. И не знал, что это были их последние счастливые дни вдвоем. Это тогда, сразу же по их приезду Лия, объявив, что ушла от него, увезла сына прямо с вокзала жить к своему новому мужу.

Пронзительная тоска по сыну вылилась тогда в трогательную, скупую на внешние проявления и «слова», от чего она стала только пронзительней и глубже, целомудренную историю зарождающейся большой любви. Тоска офицера Сергея и пионервожатой Натки по погибшему Альке спаяла их, как должны были догадаться юные читатели, на всю оставшуюся жизнь. Их жизнь, как и жизнь тоже горящего по своему маленькому другу некомфортного пионера Вадика, будет всегда посвящена борьбе за все подлинное и светлое, но такое хрупкое, подставляющее спину невидимым врагам именно потому, что оно — настоящее.

Что же касается его самого, то до появления Доры с Женькой о нем некому было позаботиться. А всякому человеку, как глоток воздуха, была необходима забота. Расставшись с Лией, он даже написал, расхныкавшись, в дневнике, что вообще-то было ему не свойственно:

Выступал по радио — о себе.

А в общем — сутолока, вечеринки. И оттого, что некуда мне девать себя, не к кому запросто зайти, негде даже ночевать... В сущности, у меня есть только три пары белья, вещевой мешок, полевая сумка, полушубок, папаха — и больше ничего и никого, ни дома, ни места, ни друзей.

И это в то время, когда я вовсе не бедный, и вовсе уже никак не отверженный и никому не нужный. Просто — как-то так выходит. Два месяца не притрагивался к повести «Военная тайна». Встречи, разговоры, знакомства... Ночевки — где придется. Деньги, безденежье, опять деньги.

Относятся ко мне очень хорошо, но некому обо мне позаботиться, а сам я не умею. Оттого и выходит все как-то не по-людски и бестолково. Вчера отправили меня, наконец, в дом отдыха Огиза дорабатывать повесть.

Другое дело, что женская забота — даже такая мудрая и ненавязчивая, как у Доры — это еще не все.

Тем более была не нужна ему плаксивая забота — под причитания женщин о том, что «и зачем вы, мужики, затеяли войну, — лучше бы, хоть худо да бедно, жили как встарь».

Как ненавидел он эту мешанскую старь!

Недаром он дал своему Лбову — реальному историческому персонажу — в хранящие его издали подруги отчаянную чудачку Риту Нейберг. А этой чудачке — имя своей любимой женщины. Чем нарушил документальную правду, на что ему посетовали некоторые оставшиеся в Перми очевидцы тех дней, не понимавшие правды художественной.

Но как назло, когда ему было больно, из него, как ржавый гвоздь, вылезал черт, который вкрадчиво говорил ласковым женским голосом: «Перестань воевать, Аркаша... Жизнь у человека одна. Побереги ее. И если каждый будет ее беречь — вот эту свою самую простую жизнь, — то он тем самым сэкономит и миллионы других жизней. А так — посмотри на поле за окном. Это же сплошное Куликово поле».

— Борись, Арджуна! — говорил с интонациями Рувима другой голос. Глуховатый, но твердый. Ласкающий его лаской кремня. — Борись, друг. Разве же можно оставить всех этих бессознательно прячущихся в свою скорлупу людей наедине с их тиранами и собственными тиранящими их страстями?

— Да плевать на людей, — зло отвечал Гайдар. — Я стал инвалидом, как Бумбаш. И душа моя тоже очерствела и вот-вот погрузится в немоту. Я хочу жить неспешным бытом где-нибудь под Рязанью. Или хотя бы в том же Клину. Всех я хороших людей люблю на этом свете. Восхищаюсь чужими домиками, цветущими садами, синим морем, горами, скалами и утесами. Но на вершине Казбека мне делать нечего — залез, посмотрел, ахнул, преклонился, и потянуло опять к себе, в нижегородскую или рязанскую. Милый Рувим, если хочешь, отрекись от меня, но только не бросай.

— А ты бы почитал тогда дневники Толстого.

— Ну да, я читал недавно его статьи. Он тоже призывал бросить оружие и просто не поддерживать существующую власть. Никакую власть не поддерживать, а просто жить по совести без всего этого регулярно всплывающего наверх человеческого

дерьма. Только он не учел, что дерьмо-то движется с самого низу. Ох и насмотрелся я, Рувим, на фронте на низовое дерьмо. Я тебе про это никогда не рассказывал. Хрен редьки не слаще. Поэтому и досадно, и тревожно мне было читать Толстого. Я бы хотел научиться у него не буяннить и не есть мяса. И — только. Послушай, Рувим... Неужели я стал Бумбарашем?

— Да никогда тебе им не стать! А если станешь, то эта страшная сила внутри — святая сила — раздавит тебя. Ты еще слишком сильно ненавидишь зло. Поэтому ты и попал в это место и в это время, когда на головы привыкшим врать себе людям стали рушиться возведенные ими прежде вавилонские башни. У всякого народа — своя башня. У нашего она будет еще долго обваливаться, этаж за этажом. Главное, чтобы ты действительно не оказался на верхних этажах. Эти, верхние, не понимают, что стоят в огне. Выноси пока из горящего здания тех, кого еще можно спасти. Даже если они падают — с самого верха. Это и есть обыкновенная биография в необыкновенное время.

— Легко тебе, милый Рувим, говорить. Когда отца забрали на русско-германскую войну, я долго бежал с плачем за уносившим его поездом. Позже я даже попытался сбежать к нему на фронт, но меня вернули. Я написал ему в письме: «Мне сейчас ужасно хочется куда-нибудь ехать далеко-далеко, чтобы поезд меня уносил подальше, туда, за тобой, по той же линии, где ехал ты, с того же вокзала, где я так горько плакал. Бедный папочка, как у меня сжимается сердце и как мне тяжело при каждом воспоминании этого мимолетного сна. Когда я был у тебя, все разобрано мною до мельчайших подробностей — выстрел, Покровка, и дальше и глубже, а особенно последнее, так и встают картины одна за другой. Эти тихие теплые вечера, когда мы брали извозчика и ехали в город, и встают они одна за другой, заставляя снова переживать моменты. Помню, когда рота остановилась, я залез на гору, я смотрел на тебя и сдерживал слезы, „неужели, — пронеслось в голове, — неужели, — подумал я, — неужели его могут убить?“ — точно сдавленный, рыдающий стон, вырвалось у меня... А поезд уходил все дальше и дальше, мерно ступал он по рельсам, и отрывалось от души что-то и уносилось вдаль за поездом к нему, милому и дорогому. Это один отрывок из дневника моей души. Пиши, дорогой, цветет черемуха, цветут цветы, расцветает великий красивый цветок свободы России, все, кажется, должно бы цвести, а не умирать, как умирают там на войне». Нет, я совсем не был похож на сурового пермского рабочего Лбова, который, взяв однажды в руку маузер, как отрезал ту часть души, где живут сантименты. Но я тоже взял спрятанный отцом мне в подарок маузер — взял его, несмотря на протесты матери, до срока. Я хотел во всем походить на отца, — ведь он был большевиком-подпольщиком. Эту историю я, немного изменив, изобразил потом в повести «Школа». Маузер для меня был — как шпага для мушкетера или как комсомольский билет. Я не отдал бы его никому. С ним я чувствовал себя — превосходящим себя... Трудно передать это чувство словами... Нет, не героем. А кем-то, кто отвечает за всех и за все. Поэтому я потом вникал во все детали жизни подчиненного мне подразделения. Я даже навещал своих красноармейцев в тифозных бараках. Отдавал, выслушивая медиков, не абы какие, а дельные распоряжения. Наверное, потому и выжил, когда и сам подхватил в дальнейшем тиф и холеру... Так вот — я однажды понял еще мальчиком, что не надо писать отцу писем о своем горе — это только добавляет тяжести в его суровый быт. Более того — не надо бояться за жизнь. Надо бояться — изменить себе, подлинному. В глубине нас есть святость — она теплится, как едва приметный огонек. Не надо его задувать. А вот раздуть его — насколько хватит, а хватить может на весь белый свет — можно и нужно!.. С тех пор я перестал бояться чьей-либо смерти. А нарком по морским и военным делам Украины Подвойский,

приехав на наш выпускной на Киевские командные курсы, где мне довелось учиться, на последнем построении на плацу, откуда мы уходили прямо на фронт, окончательно развеял все мои страхи. Он напутствовал нас так — он сыграл нам на прощание похоронный марш. Чтобы мы заранее попрощались с собой и товарищами, если кому придется умереть, но — все равно сделали свое воинское, необходимое будущему делу... К тому же я поклялся продолжать жить и драться за двоих своему смертельно раненному в бою товарищу — Яшке Оксюзу. Он был нашим командиром, а я его — заменил... Но когда я узнал про Соленое озеро, этот огонек внутри как накрыло стеклянной крышкой. Мне кажется, что в тот день пошатнулась моя вера в человека... Потом я, конечно, выплыл... Но, как видишь, я до сих пор иногда плаваю. Где они, рыцари?..

— Арджуна, борись!.. Вот и все, что я могу тебе сказать как твой брат по духу, как названный отец. Вы с Костой Паустовским для меня как дети. Вы оба так рано вылетели из разрушенных этой всемирной перетряской семейных гнезд, что, кажется, так и остались сиротами на всю жизнь. Будем же и дальше слетаться в наше гнездо в Солотче. А там времена и люди могут и поменяться.

— Но как бороться, Рувим? Когда я не Лев-Руставели, а всего лишь Гайдар. Витязь в тигровой шкуре все-таки имел дело с благородными царями. Да и мои Рахиль и Лия... все мои женщины оказывались, прямо скажем, отнюдь не царицами Тамарами. Да и я был не лучше их. Я потерял часть своей души — мою Нестан-Дареджан. И вынужден теперь сражаться за нее — как изгнанный, пораженный лев. Я скрываюсь вместо пещеры от людских глаз — в этом «Наутилусе». Называя его, чтобы обмануть тревогу, санаторием в Сокольниках. И зачем я так изоврался?.. У меня нет ни Автандила, ни Фридона, а есть только Рувим, и Коста, и милая Дора, которая опекает меня, как Аснат. А еще, быть может, я просто снюсь сам себе, как сказали бы индусы, и вся эта катавасия кругом — просто отраженные в увеличенных кривых зеркалах грани моей разбившейся натуры. Господи, как собрать из осколков Фаэтон, чтобы подняться к Солнцу?

— Но у тебя все-таки еще кое-что осталось. Осталось горячее сердце — Сердце Льва. Так что не скромничай, королевич. И хватит уже лить слезы. Вспомни погибшего, но несломленного Рума. Его душа — его Нора — тоже устремилась за ним в эту поднимающую их в небеса погибель!

Ох, недаром он написал для одного «Конотопа» про Рувима шуточные стишки: «В небесах над всей вселенной, / Вечной жалостью томим, / Зрит небритый, вдохновенный, / Всепрощающий Рувим...»

Тук-тук-тук.

«Травма, — мелькнула у меня мысль. — Опять Моисей Абрамович». Я долго смотрел на хозяина, потом сказал ему:

— Это пройдет. Позвоните по телефону 1-43-62 и передайте, что я опять болен.

Дальше обрывки.

Помню: проходил день, наступала ночь, потом как будто наоборот.

Помню, у изголовья подолгу сидел старик, успокаивал меня и рассказывал. Рассказывал он что-то странное: о какой-то горной, дикой стране, замкнутой и неприступной.

— Откуда это?

— Это? Это из страны рыцарей.

— Разве и сейчас есть рыцари?

— Да, и сейчас.

— А где?

— Там, — он мотнул головой по направлению к ущелью. — Надо идти много-много дней в горы. Но с этой стороны туда никто не ходит. Никто даже настоящих троп отсюда не знает. Кроме того, эти люди не любят, когда к ним приходят чужие.

— Кто они?

— Они... хевсурь.

Доставали какие-то бумаги у меня из карманов. Писали куда-то письма.

Однажды под вечер я проснулся. То есть я и не спал вовсе, но впечатление было такое, будто проснулся.

«Рита! — вспомнил я с ужасом. — Рита! Что ты делаешь?»

В доме было пусто. Порывисто встал, схватил какой-то мешок, сунул в него несколько чуреков. Снял со стены свой охотничий нож.

«Надо торопиться! — подумал я. — Надо скорей спешить, скорей объяснить все!»

Я высочил из дома и незаметно вышел из селения. В сумерках быстро зашагал по дороге. Прошел с версту и вдруг опомнился.

«А куда я, собственно, иду? К Рите? Объяснять? А зачем? Стоит ли? Да и поздно уже, пожалуй, объяснять. Не стоит. Но куда же тогда? Если идти вперед некуда, то обратно нельзя. Но не стоять же посреди дороги!»

Я оглянулся.

В сумеречной торжественной тишине под заоблачной вышиной торчал хищный коготь снежной птицы — вершина далекой мрачной горы. Внизу — черное ущелье, внизу леса.

«Там — та горная страна, — подумал я. — Впрочем, все равно!»

Не раздумывая, не рассуждая, я свернул с дороги и быстро зашагал в открытую пасть загадочного ущелья.

Мне трудно сейчас сказать, сколько дней — четыре или шесть — я шел вперед.

Кажется, лазал, как лунатик, по головокружительным карнизам, наткнулся на перерезающие путь скалы, возвращался обратно, загибал вправо, завертывал влево, кружил и, наконец, потерял всякое представление о том, куда иду и откуда начал путь.

Кажется, ночи были прохладные. Ночами свистели разбойные ветры, ревели потоки, и выли по ночам не то волки, не то совы, да шумели листья дикого звериного леса.

Скоро наступил голод. Я лазал по деревьям. Доставал яйца каких — то черно-синих птиц. Поймал однажды в норе зверька, похожего на суслика, зажарил и съел.

И чем дальше забирался я, тем глуше, молчаливей и враждебней смыкалось кольцо гор, тем беспощаднее давили голову каменные громады уродливых скал. Не было ни малейшего признака человеческого жилья, дикой казалась сама мысль, что здесь может жить человек.

Только один раз была встреча. В тревожном шорохе дрожащего кустарника я столкнулся лицом к лицу со старым облезлым медведем.

Он поднялся из логова, пристально посмотрел на меня, помотал головой и, лениво повернувшись, спокойно пошел прочь.

Эти дни голова у меня была горяча, ибо в ней, как в глиняном сосуде, в котором бродит виноградное вино, бродит ли без толку, бились о стены черепной коробки неокрепшие еще и не сложившиеся мысли. Потом все перебродило, улеглось, страшная усталость начала сковывать тело. И однажды, взобравшись на поросший мхом каменистый холм, я уснул тяжелым, крепким сном.

Тем самым сном, которым заканчивается припадок, сном, во время которого приходят сумерки и настает серый, но настоящий день.

Проснулся я от укола в спину. Повернулся, открыл глаза:

— Что это? Наяву или опять галлюцинация?

Прямо надо мною, возле двух коней, стояли два спешившихся всадника — два средневековых рыцаря. Один из них, с тонким ястребиным лицом, пересеченным шрамами, трогал меня кончиком острого копья.

Лица обоих незнакомцев выражали изумление и любопытство.

Я хотел подняться, но острие копья не позволило мне. Человек сказал что-то своему товарищу, потом поднял надо мной это узкое металлическое острие.

Меня поразило выражение лица этого человека. С таким выражением мальчишка стоит в лесу над прикорнувшей ящерицей и думает: разбить ей голову камнем или не стоит? Собственно, не к чему разбивать, а можно все-таки и разбить!..

Но другой ответил ему что-то и покачал головой.

— Камарджоба! Амханако! — по-грузински сказал я из-под копыя.

Нет, Гайдар и тогда жестоко обозначился. Это опять были не рыцари, а только их жалкие наружные подобия. Они взяли его в плен и увезли в Хевсуретию, где поселили как раба в замок местного царька. Его звали Улла. Он был старшим сыном хозяина замка, и он терроризировал свой народ.

Он собирался выдать свою сестру — прекрасную Нору — за какого-то тоже богатого и знатного иноплеменника.

Нора же любила единственного настоящего тут джигита — прекрасного и телом, и душой Рума. А Рум любил — Нору.

Все жители этого глухого, затерянного в горах ущелья, куда не добралась еще Советская, как и, впрочем, любая другая власть, были предоставлены сами себе. Это были своего рода Маугли. Они принимали самолеты — за железных птиц.

И все-таки Гайдар встретил среди них рыцарей.

Рум, который готовил восстание, чтобы привести в этот затерянный уголок Хевсуретии Советскую власть, поклялся умереть, но вызволить Нору из рук брата-тирана.

— Рум! — сказал я, подходя ближе. — Я знаю, что ты готовишь восстание.

Он вздрогнул и тигровым прыжком бросился ко мне.

— Что ты сказал?... Кто сказал тебе? И я ответил:

— Мне сказал это человек, голова которого торчит сейчас на пике у ворот замка.

Он поверил мне, и ты можешь верить мне тоже.

Рум опустил руку с кинжалом.

— Шпионов у Уллы так много... — как бы объясняя свою вспыльчивость, тихо проговорил он.

Мы стояли на мшистом холме. Позади, врезаясь в небо, торчали вершины скалистых гор.

— Рум, — спросил я, — чего ты хочешь и чего добиваешься?

— Жизни, — помолчав, сказал он. — Мы мертвый народ. Мы живем в каменных норах тысячу лет все там же и все так же! Я был внизу, я видел, что там работают, живут свободно, спокойно. Я видел там такое, чему здесь даже не верит мне никто. Что у нас есть? Полусырое мясо, сухие лепешки, конь, шашка и всегда, всегда одно и то же. Улла говорит, что зато мы свободны, зато нас никто еще не покорил. Это не так! Нас просто позабыли, и мы, забившиеся сюда, в горную глушь, мы, маленькое племя, просто никому не нужны! Надо все менять, надо перерезать горло всем главарям, таким, как Улла, потому что они мешают жить! Все равно по-старому не живут. Старики говорят, что первого человека, который принес в горы винтовку, разорвали на куски, когда он выстрелил. А сейчас? А сейчас за винтовку отдают двух быков. Старики говорят, что когда-то один хитрый грузин принес в горы маленькие куски блестящего зеркала и менял их на масло у женщин. Тогда всем женщинам, у которых нашли зеркала, обваривали кипятком лица, чтобы они не думали о своей красоте, а грузину набили рот осколками битых стекол и зашили губы кожаным шнуром! А теперь всякая девушка старается достать зеркало, и у самого Уллы висит большой кусок на стене. Все равно, раз старое уходит, надо, чтобы оно скорей ушло.

Облокотившись рукой на шашку, он насторожил слух и уставился в небо. Я ясно слышал как откуда-то издалека доносится едва уловимое, но знакомое жужжание. Я прикрыл глаза ладонью и тоже взглянул туда, куда, окаменев, уставился Рум.

И увидел в синеве осеннего неба, над лесами, над громадами неприступных гор летящий с севера на юг аэроплан...

Долго смотрели мы, как исчезал он за облаками, склонившимися на грудь могучих гор. Молчали. Я думал: «Дикая горная страна Хевсуретия, в которую так трудно пробраться и из которой еще труднее выбраться, — только маленькое пятнышко под взором быстролетных всадников воздуха».

Рум сказал:

— Эту железную птицу тоже сделали люди снизу. Я всегда смотрю на нее, когда она пролетает по небу. Я отдал бы свою серебряную шашку, коня и свой замок за то, чтобы у меня была своя железная птица.

— Зачем тебе, Рум?

— Так, — ответил он уклончиво. — Так. По-моему, тот, у кого есть эта птица, знает все, что только можно узнать во всем мире.

Гайдар, приближая тем самым свою гибель — его ждала здесь смерть, которую Улла только то и дело отсрочивал из каких-то своих расчетов, — помог Руму с его людьми выступить против Уллы.

Но Улла со своими людьми перебил их.

Сражаясь до последнего, как лев, Рум погиб.

Но Нора, высвободившись потом из плена с помощью кинжала, убив им Уллу, освободила и Гайдара.

Но она все равно погибла.

Она прыгнула в пропасть, чтобы воссоединиться с Румом.

Потом оказалось, что история Рума и Норы была лишь сном, который привиделся ему после того, как он прочитал письмо Риты и Николая.

Гайдар закончил свою повесть про всадников неприступных гор так:

На этом месте тропинка была настолько узка, что двоим нельзя было идти рядом. Я пошел вперед и, поглядев на небо, усыпанное звездами, вспомнил Рума с его мечтой иметь «железную птицу», чтобы знать и видеть все, что только можно узнать в этом мире. И я подумал, улыбнувшись: «Рум! Не только тебе, но и мне нужна птица, которая научила бы меня видеть и понимать все. Но еще до сих пор я не встретил ее ни в голубом небе, ни в зеленых лугах. И если даже я и встретил ее случайно, то еще не узнал ее...»

Я вздрогнул от шороха осыпающихся камней. Я обернулся и увидел, что на узенькой тропинке над пропастью не было никого, кроме меня. Нора, тоскующая о Руме, исчезла в темной пустоте пропасти...

Далекий сон — страна умирающих рыцарей, страна железных кольчуг и каменных замков — этот сон уплыл прочь.

И доктор Владикавказской нервной клиники, не Моисей Абрамович пожимал мне руку и говорил:

— Ну, смотрите, больше никаких потрясений. Травма. Истеропсихо... Образ жизни — самый регулярный. Больше пейте молока, и чтобы никаких Хевсуретий.

Я вышел на улицу. Легкое солнце... Мягкой улыбкой расплывалась золотистая осень. Я жадно хлебнул глоток свежего воздуха и улыбнулся сам.

— Хорошо жить!

«Рита...» — вспомнил опять. Но на этот раз это имя вызвало только смутные очертания, тень, неясную и призрачную. Я позабыл лицо Риты...

Девять суток плыл пароход по Волге от Сталинграда вверх.

Девять суток я выздоравливал час за часом. И когда на десятые заревела сирена у пристани, где кончался мой путь, когда замелькали знакомые дома, прибреж-

ные бульвары и улицы, я смешался с веселой, бодрой толпой и сошел на давно покинутый мною берег...

И вот я, вернувшийся из очередного путешествия по обыкновению ободранным и усталым, валяюсь теперь, не снимая сапог, по кроватям, по диванам и, окутавшись голубым, как ладан, дымом трубочного табака, думаю о том, что пора отдохнуть, привестивсе в систему.

Рита замужем за Николаем. Они официально зарегистрировались в загсе, и она носит его фамилию.

Вчера, когда заканчивал один из очерков для очередной номерамоей газеты, Рита неожиданно вошла в комнату.

— Гайдар! — крикнула она, подходя ко мне и протягивая руку.

— Ты вернулся?

— К кому, Рита?

— Сюда... К себе, — ответила она, чуть запнувшись. — Гайдар! Ты не сердись на нас? Я теперь знаю все... Нам писали из грузинского поселка, как было дело. Но мы же не знали. Мы были сердиты на тебя за ту ночь! Ты прости нас.

— Прощаю охотно, тем более что это мне ничего не стоит. Как живешь, Рита?

— Ничего, — ответила она, чуть опуская голову. — Живу... Вообще...

Она помолчала, хотела что-то сказать, но не сказала. Подняла матовые глаза и, посмотрев мне в лицо, спросила:

— А ты?

Я не знаю, что это у нее за манера заглядывать в чужие окна...

Но на этот раз шторы моих окон были наглухо спущены, и я ответил ей:

— Я жаден, Рита, и хватаю все, что могу и сколько могу. Чем больше, тем лучше.

И на этот раз я вернулся с богатой и дорогой добычей.

— С какой?

— С опытом, закалкой и образами встречных людей.

Я помню их всех: бывшего князя, бывшего артиста, бывшего курсанта. И каждый из них умирал по-своему. Помню бывшего басмача, бывшего рыцаря Рума, бывшую дикарку-узбечку, которая знала «Лельнина». И каждый из них рождался по-своему...

Как ладья, выплывает из-за поворота коридора на банную комнату легкой, мягкой походкой тонкая девушка с короткими льняными волосами и глубокими синими глазами.

Эти глаза — как чистая гладь синего моря. Разбросаны по щекам летящими чайками веснушки.

Опустившись на корточки, она бережно берет его за руку и, говоря что-то ласковое тихим мелодичным голосом, куда-то тянет.

— Ты Никитина?.. — спрашивает он с так и взвившейся, перевернувшей все внутри надеждой. — Неужели ты нашлась?

Он покорно идет за ней в ее палату, где в эту минуту нет больше никого.

Не устояв, опять садится на пол.

Девушка, обняв его за плечи, тоже садится рядом.

Это само синее море пришло, приобняло за плечи теплой пенной волной и молчит. Это святое молчание.

— Как тебя зовут?... — спрашивает он спустя время, просто для того, чтобы хорошего не стало слишком много и оно не исчезло.

— Галя.

— Кто ты, откуда, что здесь делаешь?

— Я здесь на профилактике. А так я работаю на фабрике спортивных костюмов. Я окончила облегченную школу... Для умственно отсталых, в общем. И иногда меня помещают сюда для профилактики как бывшего ребенка-идиота.

— Я люблю детей-идиотов. Это чудесные дети. Однажды я подружился с двумя маленькими идиотами, когда странствовал без денег по Новороссии. Они сбежали из интерната и помогли мне прокормиться тем, что воровали в огородах картошку и тыквы. Я потом описал тот случай в очерке... Только идиотами в очерке вышли, конечно, не те пацаны, а дядьки и тетки, которые таким смышленных и сердечных ребят записали в идиоты.

— Я тоже помогаю с восьми лет прокормиться взрослым. С тех пор, как умерла мать. Отец сразу привел мачеху с двумя малышами-близнецами. И отец, и мачеха сильно пили и работать не могли. Пришлось мне... Приходя из школы, я отправлялась собирать. Потом, когда немного подрасла, стала вязать шапки и шарфы, шить платья. Продавали соседям... На это и жили... Потом мачеха попала в эту больницу и прожила здесь два года. За это время отец привел другую и хотел выгнать близнецов. Но я ему не позволила. Я уже работала на фабрике и дала слово, что этот груз будет только на мне... Другую мачеху — она тоже оказалась пьющей — тоже пришлось взять на содержание. И первую тоже — я ношу ей обеды в общежитие. Но ничего, близнецы уже скоро окончат школу и сами встанут на ноги. И тогда я, наверное, уеду. У первой мачехи есть родня в Киеве. Я Киев хочу посмотреть... И, может, останусь там жить. Мачеха мне обещала... Я, может быть, там даже замуж выйду. Хотя у меня есть тут жених... Он тоже учился в нашей школе. Он очень хороший человек, только он лилипут. Он ростом как двенадцатилетний пацан... Вот он уже пришел под окно — он всегда тут стоит, с самого утра. Мы переговариваемся жестами, и он смешит меня. Придет под окно — и начинает смешить. Я хохочу, и время до выписки тянется быстрее. Я послала его в булочную за пирожками. Сейчас нам с вами их передадут — он перезнакомился со всеми дежурными на дверях и вообще со всеми, его тут все любят. И я его тоже очень люблю. Только не так, как мужей.

— Ах ты, горемычная! Что все мои беды в сравнении с твоими? Ты чем-то похожа лицом на моего умершего младенцем сына Женьку. С тех пор я очень боюсь за жизнь детей. Особенно детей командиров. Я тогда был на фронте, и, может быть, — кто знает? — ребенку просто не хватило отцовского тепла. Поэтому мы с моей второй женой договорились обманывать этих... в общем, разных прохвостов в погонах, если кого-то из нас арестуют, будто Тимур — не мой сын. Чтобы он не стал сыном врага хотя бы по одному из родителей. Нет отца — стало быть, нет врага... Вот как мы теперь живем — хорошие люди!.. Но я все равно очень виноват перед сыном. Когда я вернулся из поездки по Средней Азии и Кавказу без Риты, я собирался все равно уйти от жены. Но она преподнесла мне сюрприз — она сказала, что она беременна. И представь — я, идиот, не обрадовался, а распахивался. Я решил, что это такая военная хитрость, чтобы сохранить наш брак. Поэтому наши пути с женой разошлись на целых два года. Вскоре она уехала к родителям в Архангельск, и там мой сын и родился. Я только сухо сказал ей на прощание, что хотел бы, чтобы если будет сын — его назвали бы Тимуром. А если дочь — то Женей... В общем, мы впервые встретились с Тимуром в Архангельске, а потом опять сошлись с его матерью и переехали все в Москву, лишь когда ему уже было два года. Я знаю, ты все понимаешь и поймешь меня... Я взял бы тебя в жены, милая девушка. Но у меня уже есть Дора и Женька. И поэтому я могу быть тебе только старшим братом. Я обязательно найду тебя и буду приходить в гости. И ты станешь ходить к нам. Я пришлю тебе свои книги — они так просты, что их могут понимать все идиоты.

Вместе они подходят к окну и видят пританцовывающего на морозе маленького мужичка. Он, улыбаясь, поднимает над кажущейся непомерно большой взрослой головой на детском теле пакет с пирожками и показывает рукой на вход.

— Я мигом! — певуче говорит Галя и выплывает из палаты.

Потом опять всплывает, протягивает ему, сидящему уже на стуле, еще дымящийся пирожок.

И это — единственный доставшийся им пирожок, который они по-братски разломают пополам.

Все остальное расхватили по дороге другие обитатели больницы.

Они с удовольствием едят и неведомо чему хохочут.

Но вдруг Галя начинает плакать.

Она просит дать ей бритву.

— Посмотри, — говорит она, показывая ему руки, — это шрамы от порезов. Когда я нервничаю, я режу себя, чтобы выпустить кровь... И если мне не дают этого сделать, то крови внутри становится так много, что я нервничаю все больше и больше. А иногда я ее слизываю — свою кровь.

— Бедная ты моя — как мы с тобой похожи... Мы с тобой махнем летом в Крым, в «Артек». Я устрою тебя работать пионервожатой. Меня там все любят и поэтому слушаются. Ты видела когда-нибудь море? Своей Женьке я писал в письме: *«Уважаемая Евгения! Плыву сейчас на пароходе по Черному морю. Море это очень глубокое, и если поставить сто домов один на другой, то все равно потонут. В этом море водятся разные злые рыбы, веселые дельфины, блестящие медузы, а коровы в этом море не водятся, и кошки с собаками не водятся тоже»*. Только надо нам всем крепко верить в Тимура. Слышишь меня?.. Крепко верить в Тимура! Эти слова я говорил год назад здесь, в санатории в Сокольниках, одной десятикласснице, которая проходила здесь реабилитацию после менингита и каких-то страхов. Ну, она была не в пример многим другим — глубокой девушкой, она хотела видеть все как есть... И поэтому болела. Мы с ней крепко подружились — тогда еще не было ремонта, и нас, пациентов, лежавших в этом отделении для легких больных, действительно, как в хорошем санатории, отпускали под присмотром медсестры гулять в парк. Вместе с этой девушкой мы стали ходить в парк на лыжах. Мы лепили снежных баб, строили снежные крепости, играли в снежки, катались на коньках и делились впечатлениями о прочитанных книгах. Мы читали стихи и много говорили. Она умела прекрасно читать «Фауста» Гёте. Как-то она спросила: «Аркадий Петрович, что такое счастье? Только, пожалуйста, не отвечайте мне, как Чуку и Геку: счастье, мол, каждый понимает по-своему. Ведь есть же у людей одно, большое, общее счастье?» Я подумал и ответил: «Есть, конечно, такое счастье. Ради него живут и умирают настоящие люди. Но такое счастье на всей земле наступит еще не скоро». Она воскликнула: «Только бы наступило!» Я пообещал: *«Непременно!»* Ее звали Зоя Космодемьянская. У нее тоже, как у нашего с тобой барабанщика, был арестован отец. Он был из семьи священника. Я потом подарил ей свою книгу, где вместо дарственной надписи написал слова из «Чука и Гека»: «Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».

И в это-то время на пороге палаты появляется еще один человек.

Это заместитель профессора отделения — некий Сергей Иванович, про которого Гайдар уже настолько забыл, что с трудом может припомнить, что когда-то говорил с ним.

Тем более что халат его наглухо застегнут на все пуговицы и орденские планки больше Гайдара не злят.

— Что здесь происходит?! — сумрачно кричит он сквозь сжатые зубы. Руки сцеплены за спиной. Не обнаружив доказательств криминала, он продолжает, уже поостыв: — Аркадий Петрович, а ведь вы — очень гордый и властолюбивый человек. Уз-

нав о том, какая слава свалилась на молодого поэта Сергея Михалкова после того, как он написал «Колыбельную Светлане» — все сразу поняли и без посвящения, что она предназначалась дочери нашего вождя, — вы написали «Голубую чашку», главную героиню которой — маленькую девочку шести с половиной лет — тоже зовут Светланой. Не отрицайте — не отрицайте! Нам известно, что вы не раз встречались в то время с Михалковым — будучи коллегами по журналистскому цеху, вы пересекались тогда в коридорах «Известий». «Колыбельная Светлане» была опубликована «Известиями» 29 июня 1935 года. А ваша «Голубая чашка» появилась немногим позже — в январском номере «Пионера» за 1936 год. Но в то время как Михалков просто баюкал Светлану Сталину, обещая ей крепкий сон, охраняемый четко работающей страной и не смыкающими глаз пограничниками, вы осмелились прочитать ей проповедь!.. А ведь вы знали, что Светлана для всех нас — это не просто ребенок, а символ. Это — символ нашей юной страны. Недаром вслед за вождем и другие члены ЦК, а также другие партийные работники, да и простые граждане стали с воодушевлением называть своих дочерей Светланами. Светлана — это и наш светлый путь к будущему, и одновременно — наша русская душа. Это как бы живое воплощение лампочки Ильича. Отличающаяся по-пушкински всемирной отзывчивостью и — одновременно — лиризмом, как героиня знаменитой баллады Жуковского, который и придумал это имя. Правда, без свойственного этому реакционному романтику налета мистицизма. А вы — вы посмели рассказывать в своей «Голубой чашке», ведя Светлану за руку, как отец, про то, какой, по вашему разумению, должна быть страна. А между тем имени товарища Сталина вы в своем творчестве за свою литературную карьеру почему-то так ни разу и не упомянули. Более того, вы подбивали Светлану Сталину сбежать из дома, а может, и вовсе из страны, которую символизирует строгая, внешне холодная к девочке мать. Вы как отец пытались повлиять на Родину-Мать — перестроить ее для душечки Светланы на иных государственных началах. Вы захотели стать отцом — Советскому Союзу!

Как ни был Сергей Иванович осведомлен о непредсказуемости склонного к неожиданным поступкам Гайдара, что бесило его едва ли не больше всего, он все равно был ошеломлен, когда Гайдар, вдруг обернувшись во весь свой огромный рост, сделал два стремительных шага вперед и, прижав его к груди, с чувством расцеловал в обе щеки:

— Спасибо, друг! — сказал он звонким счастливым голосом. — Как ты мне помог!.. Ты сказал мне, что я могу стать отцом!

Да! Он может стать отцом Советскому Союзу. Тому, что цвел у него внутри еще тогда, когда он слушал маленьким рассказы отца про то, какое их всех ждет будущее, если они станут бороться за него. Позже эти образы, не теряя святой наивности и в то же время меняясь, росли вместе с ним. Это из них он создал потом в качестве писателя свою Гайдарию. И действительно свято верил, что может донести ее до сердца всех Светлан, включая дочь вождя. Верил, что любившая его книги Светлана Сталина шепнет про эту Гайдарию отцу, а тот вспомнит и воскресит в себе семинариста Сосо Джугашвили, который был тоже немного мечтателем, раз написал такие стихи:

Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песней своей.

А в песне его, а в песне,
Как солнечный блеск чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.

Сердца, превращенные в камень,
Заставить биться сумел,
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.

Но вместо величья славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.

Сказали ему: «Проклятый,
Пей, осуши до дна...
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»

Святую правду юноши отвергли. А он отверг из-за этого собственную душу.

Вот что понял только теперь Гайдар.

Нельзя смеяться над детским сердцем!

Детскую правду надо хранить в своем сердце глубоко-глубоко, как самую важную Военную Тайну, как пытается хранить его, несмотря на холода, он сам.

Последнее же он понял гораздо раньше, когда написал «Школу» — первое свое произведение, сознательно написанное для детей, с которого и начался в литературе его путь как большого писателя уже со своим крепким голосом.

Он сумел посмотреть тогда на жизнь страны с самого низа — глазами ребенка.

И низ и верх вдруг — поменялись местами.

По образу и подобию Гайдари, но только непременно такой, какая растет вместе с ним, а после его смерти будет расти с другими ее сынами и дочерьми, и нужно строить новую Россию, со всеми ее общественными и государственными структурами: от детской площадки и школы — до армии и правительства.

Раз она есть внутри, то, значит, должен найтись и ее физически осязаемый, воплощенный в жизнь образ. Сопутствующий тому, чтобы, быть может, преодолеть когда-нибудь даже притяжение материи. Поскольку все, что непреодолимо, переходящее по определению.

Поэтому рост вечно находящейся в Пути страны — бесконечен.

Вот только начинаться он должен — с мудрого умаления.

Вот идет рука об руку в «Голубой чашке» его лирический герой со своей дочерью Светланой. Дочери — всего шесть с половиной лет. Но есть в ней что-то не только от Светланы Сталиной, которую, Гайдар, несомненно, тоже имел в виду — зам профессора ошибся не в фактах, а в мотивах! — но и от Эры и Светы, которые считали его тогда своим отцом. От Светланы-дочери вождя его Светлана взяла стратегический ум, который предполагался в той по умолчанию. От младшенькой рыжеволосой подвижной и озорной Эры его Светланке достался необыкновенно рыжий цвет волос и вся прелесть озорства. От старшей Светы — внутренний свет, тактичность, грация.

И, конечно же, не мог не вложить он в этот созвучный, да что там говорить — слитый с ним образ души, и кое-чего от Никитиной. От нее Светлана переняла правдолюбие и отчаянную неприкрытость ребенка.

Но странные дела происходят в жизни маленькой Светланы. На что она ни бросит взгляд — первый свой взгляд человека, привыкшего органично и в чем-то еще простодушно совмещать в своей маленькой жизни внешнее с внутренним, — как перед глазами ее оказываются перевертыши. И что бы делала Светлана, не будь у нее такого молодого душой отца, с которым они идут вместе по жизни, ненавязчиво поддерживая друг друга! Оба они, стараясь обнажить в происходящем глубину, постигают на практике — сначала в малом, а потом и большом — а может, оба эти процессы у них происходят одновременно, — что самого главного глазами не увидеть.

Вот семья приехала на дачу. Дочь и отец полагали, что сразу отправятся по ягоды и грибы, сядут в лодку и поплывут по реке: отец на веслах, мать на руле, а дочка — пассажиром. Но пришлось по указке Маруси — так они называют мать — три дня подряд подметать двор и чинить забор.

Потом появился товарищ Маруси — полярный летчик. И они с Марусей долго сидели с ним в саду под вишнями, вместо того чтобы сесть наконец всей семьей в одну лодку. А потом Маруся пошла провожать летчика на вокзал, а Светлане велела выпить молока и лечь спать.

И это несмотря на то, что они с погрустневшим отцом в это время с горя влезли на крышу и с увлечением устанавливали вертушку, которую только что смастерили.

Не послушались они Маруси и не слезли с крыши, и, та, вернувшись, уже сердито велела им идти спать, и вертушку они так и не установили.

А утром случилось и вовсе странная вещь: Маруся обвинила их в том, что они разбили в чулане ее голубую чашку, когда лазили за мукой, чтобы приготовить для вертушки клейстер.

А они с отцом не разбивали голубой чашки!

Но Маруся почему-то не поверили их твердому слову и уехала в город.

И тогда отец предложил — уйти от Маруси туда, куда глядят глаза.

А глядели эта глаза — на весь тот большой и широкий мир, который, начинаясь за порогом их дачи, так и манил в свою даль.

Собственно, костяк сюжета «Голубой чашки» и составлял рассказ об этом предпринятом отцом и дочерью побеге-странствии.

Чего только они не увидели, не почувствовали и не ощутили за этот долгий день! Чего не передумали!

Эти удивительные встречи с природой, людьми, их судьбами и ситуациями — глубоко жизненны и полны скрытого в них света и мудрости. Вбирая эту мудрость, как свет ясного солнца, как нежную росу и неприметное на первый взгляд тепло человеческого сердца, Светлана растет не только ввысь, но и в глубину.

И к концу этого удивительного, очень светлого, полного увлекательных приключений дня душа ее обретает способность видеть во взрослом мире за его обманчивой сложностью его простую внутреннюю основу. Она находит единство между внутренним и внешним, но единство не прямое, а опосредованное. Внешнее — не обязательно равно внутреннему. Правое — не обязательно равно левому. Не стоит сужать многообразие жизни, подгоняя одни его стороны под другие, исходя из только сугубо своего, личного видения. Разные взгляды разных людей — при всей их преходящей важности, к чему тоже надо уметь уважительно прислушиваться — одновременно и перегородки, отделяющие людей друг от друга, создающие между ними зону непонимания и отчуждения.

Но суть-то все равно не в разделениях, а в единстве!

Все люди на глубине едины и хотят одного! Они любящие и желающие любви души! Вот что поняла своей глубокой любящей душой Светлана.

И — смогла понять изнутри чувства матери и отца, скрытую от глаз причину их раздора. И — даже ненавязчиво помогла им в конце этого трудного, но радостного дня снова найти друг к другу дорогу.

Нет, голубую чашку никто не разбивал — ни отец, ни Светлана, ни сама так часто принимавшая в последнее время внешнее за внутреннее Маруся: это разбилось внешнее понимание счастья у самой Маруси. Да и у отца и дочери тоже разбилось некое сугубо свое, пусть и более тонкое и красивое, чем у Маруси, но все-таки еще в чем-то ограниченное понимание сути вещей.

А посуда, как известно, бьется к счастью!..

Вернувшись из города, Маруся сняла платок, снова надела свое красное платье, влезла босой на крышу и сама установила их роскошную сверкающую вертушку. А после стала дожидаться своих домочадцев с прежней, теперь и проявленной так же и наружу, любовью.

А возвратившиеся поздно вечером отец и дочь, ни словом ее не попрекнув, окончательно решили, что никто голубой чашки не разбивал — ее, вероятно, случайно задела глупые серые мыши. И просто отодвинули ногой еще валяющиеся осколки.

Это рассказ — о Доверии.

Так бы он охарактеризовал свою «Голубую чашку» теперь.

В нем он снял мнимое противостояние между «своим» и «чужим», приводящее к наклеиванию всяческих ярлыков:

Увидал нас Пашка, но не испугался, а бросил огрызок в собачонку и сказал, ни на кого не глядя:

— Тю!.. Шарик... Тю!.. Вон идет сюда известный фашист, белогвардеец Санька. Погоди, несчастный фашист! Мы с тобою еще разделаемся.

Тут Пашка плюнул далеко в песок. Кудластая собачонка зарычала. Испуганные воробьи с шумом взлетели на дерево. А мы со Светланой, услышав такие слова, подошли к Пашке поближе.

— Постой, Пашка, — сказал я. — Может быть, ты ошибся? Какой же это фашист, белогвардеец? Ведь это просто-напросто Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в чужой сад на помидорные грядки залезли.

— Все равно белогвардеец, — упрямо повторил Пашка. — А если не верите, то хотите, я расскажу вам всю его историю?

Тут нам со Светланой очень захотелось узнать всю Санькину историю. Мы сели на бревна, Пашка напротив. Кудластая собачонка у наших ног, на траву. Только Санька не сел, а, уйдя за телегу, закричал оттуда сердито:

— Ты тогда уже все рассказывай! И как мне по затылку попало, тоже рассказывай. Думаешь, по затылку не больно? Возьми-ка себе да стукни.

Посмотрели мы на Саньку и подумали: «Ну, брат, плохая у тебя история. Даже слушать противно. А мы-то еще собирались за тебя заступиться».

И только хотел я это сказать, как вдруг дрогнула и зашумела мельница, закрутилось по воде отдохнувшее колесо. Выскочила из мельничного окна обсыпанная мукой, ошалелая от испуга кошка. Спросонок промахнулась и свалилась прямо на спину задремавшему Шарик. Шарик взвизгнул и подпрыгнул. Кошка метнулась на дерево, воробьи с дерева — на крышу. Лошадь вскинула морду и дернула телегу. А из сарая выглянул какой-то лохматый, серый от муки дядька и, не разобравшись, погрозил длинным кнутом отскочившему от телеги Саньке:

— Но, но... смотри, не балуй, а то сейчас живо выдеру!

Засмеялась Светлана, и что-то жалко ей стало этого несчастного Саньку, которого все хотят выдрать.

— Папа, — сказала она мне. — А может быть, он вовсе не такой уж фашист? Может быть, он просто дурак? Ведь правда, Санька, что ты просто дурак? — спросила Светлана и ласково заглянула ему в лицо.

В ответ Санька только сердито фыркнул, замотал головой, засопел и хотел что-то сказать. А что тут скажешь, когда сам кругом виноват и сказать-то, по правде говоря, нечего.

Но тут Пашкина собачонка перестала вдруг тявкать на кошку и, повернувшись к полю, подняла уши.

Где-то за рощей хлопнул выстрел. Другой. И пошло, и пошло!..

— Бой неподалеку! — вскрикнул Пашка.

— Бой неподалеку, — сказал и я. — Это палят из винтовок. А вот слышите? Это застрочил пулемет.

— А кто с кем? — дрогнувшим голосом спросила Светлана. — Разве уже война?

Первым вскочил Пашка. За ним помчалась собачонка. Я подхватил на руки Светлану и тоже побежал к роще.

Не успели мы пробежать полдороги, как услышали позади крик. Мы обернулись и увидели Саньку.

Высоко подняв руки, чтобы мы его скорее заметили, он мчался к нам напрямик через канавы и кочки.

— Ишь ты, как козел скачет! — пробормотал Пашка. — А чем этот дурак над головой размахивает?

— Это не дурак. Это он мои сандали тащит! — радостно закричала Светлана. — Я их на бревнах позабыла, а он нашел и мне их несет. Ты бы с ним помирился, Пашка!

.....

— Странные я слышу разговоры, — двигаясь вперед, сказал бородастый старик. — Видно, я шестьдесят лет прожил, а ума не нажил. Ничего мне не понятно. Тут, под горой, наш колхоз «Рассвет». Кругом это наши поля: овес, гречиха, просо, пшеница. Это на реке наша новая мельница. А там, в роще, наша большая пасака. И над всем этим я главный сторож. Видал я жуликов, ловил и конокрадов, но чтобы на моем участке появился хоть один фашист — при советской власти этого еще не бывало ни разу. Подойди ко мне, Санька — грозный человек. Дай я на тебя хоть посмотрю. Да постой, постой, ты только слюни подбери и нос вытри. А то мне и так на тебя взглянуть страшно.

Все это неторопливо сказал насмешливый старик и с любопытством заглянул из-под мохнатых бровей... на вытаращившего глаза изумленного Саньку.

— Неправда! — шмыгнув носом, завопил оскорбленный Санька. — Я не фашист, а весь советский. А девчонка Берта давно уже не сердится и вчера откусила от моего яблока больше половины. А этот Пашка всех мальчишек на меня натравливает. Сам ругается, а у меня пружину зажулил. Раз я фашист, значит, и пружина фашистская. А он из нее для своей собаки какую-то качалку сделал. Я ему говорю: «Давай, Пашка, помиримся», — а он говорит: «Сначала отдеру, а потом помиримся».

— Надо без дранья мириться, — убежденно сказала Светлана. — Надо сцепиться мизинцами, поплювать на землю и сказать: «Ссор, ссор никогда, а мир, мир навсегда». Ну, сцепляйтесь! А ты, главный сторож, крикни на свою страшную собаку, и пусть она нашего маленького Шарика не пугает.

— Назад, Полкан! — крикнул сторож. — Ляжь на землю и своих не трогай!

— Ах, вот это кто! Вот он, Полкан-великан, лохматый и зубатый.

Постояла Светлана, покрутилась, подошла поближе и погрозила пальцем:

— И я своя, а своих не трогай!

Поглядел Полкан: глаза у Светланы ясные, руки пахнут травой и цветами. Улыбнулся и вильнул хвостом.

Завидно тогда стало Саньке с Пашкой, подвинулись они и тоже просят:
— И мы свои, а своих не трогай!

— Отбой! — приказал комендант снежной крепости Тимур, увидев во главе войска своего главного противника по военной игре — Сашу Максимова, у которого, как он ошибочно полагал, только что погиб на финской войне отец. — Сдать крепость без боя!

Его непримиримый противник — командир отряда противника в их игре — был болен, но убежал из дому с температурой, чтобы во что бы то ни стало взять этой ночью крепость, возглавив свое войско.

Тимуровцы с легкостью могли бы отбить эту атаку.

Но комендант приказал выбросить Белый Флаг.

Он понял: мальчик, у которого погиб в честном бою отец-командир, сейчас «свой». А со своими не воюют!

— Капитан Грант! Отец! — закричали Тимур и Женя.

Тут сердце Гайдара — вдруг опять встрепенулось и принялось, как и душа Светланы, что называется, светить во все концы.

Туман перед глазами рассеялся, и он обнаружил, что больше не стоит в полынне.

Тогда он дал капитану Немо команду: «Поднять „Наутилус“ наверх!»

И — стал готовиться к выходу на сушу.

Через два дня писатель Аркадий Гайдар выписался из больницы.

Провожали его Сергей Иванович, Галя и Иван.

Прежде чем повернуться на каблуках и быстро уйти, Сергей Иванович отчеканил:

— Аркадий Петрович, не забудьте: 25 января вас ждут на совещании в ЦК ВЛКСМ по вопросам трудового и военного воспитания детей. Если сдадите этот экзамен, ваш «Командант снежной крепости» немедленно пойдет в печать.

Галя просто кротко улыбалась, стараясь не выдавать тихой грусти.

Иван же строго повелел:

— Иди, командир, и больше не возвращайся.

— Нет, я непременно вернусь, — пообещал им обоим Гайдар. — Это очень серьезно.

А на улице сияло, катаясь на снегу рыжим озорным мальчишкой, даже в этот крепкий мороз ясное, требующее от жизни своего январское солнце.

Вокруг было много разных людей, и все они не всегда знали, как понять чужую границу, не теряя своей, и часто это приводило к печальным, а порой и забавным потерям.

Но он твердо верил: внутренне и внешнее когда-нибудь сойдутся, и на их материки снова наступит Золотой Век.

Главное, что его ждут повсюду — его дети.

Вскоре по всей стране молнией разлетелась речь Гайдара, обращенная к своим юным читателям с трибуны ЦК комсомола. В ней, в частности, говорилось: «Пусть потом когда-нибудь люди подумают, что вот жили такие люди, которые из хитрости назывались детскими писателями. На самом же деле они готовили красноречивую, крепкую гвардию».

Осенью 1941 года военный корреспондент «Комсомольской правды» Аркадий Гайдар, которого не взяли на фронт по здоровью, отказался эвакуироваться из осажденного немцами Киева.

По словам очевидцев, он сказал, что уезжать ему было стыдно — в окружении, фактически на произвол судьбы, была брошена высшим командованием шестисоттысячная группировка киевских войск.

Вместе с другими командирами он вывел, разбив на три штурмовые колонны, с боями в леса около четырех тысяч бойцов, которые стали потом прорываться мелкими группами дальше.

Сам же Гайдар собирался организовать свой собственный партизанский отряд и увести его в черниговские леса.

Но 26 октября 1941 года он был убит выстрелом в сердце на железнодорожном переезде близ села Лепляво Каневского района Черкасской области, нарвавшись вместе с четырьмя другими бойцами на немецкую засаду.

Приняв огонь на себя, Гайдар успел махнуть оставшимся за насыпью товарищам, благодаря чему тем удалось спастись.

По крайней мере, двое из них дожили до Победы.

По их словам, на гимнастерке командира в те дни отсутствовал неизменный орден: сослуживцы в целях конспирации уговорили товарища Гайдара, что называется, не светиться.